

МАРИЯ ДУБНОВА
АРКАДИЙ ДУБНОВ

Танки в Праге, Джоконда в Москве

азарт
и стыд
семидесятых

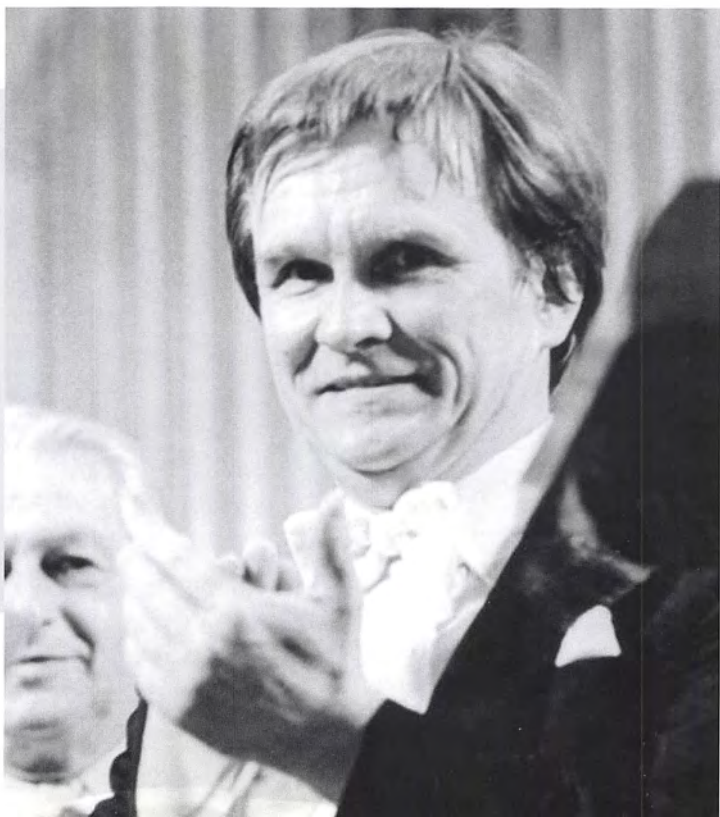


Елена Образцова, 1980-е



Елена Образцова, декабрь 1979

Владимир Федосеев,
май 1981



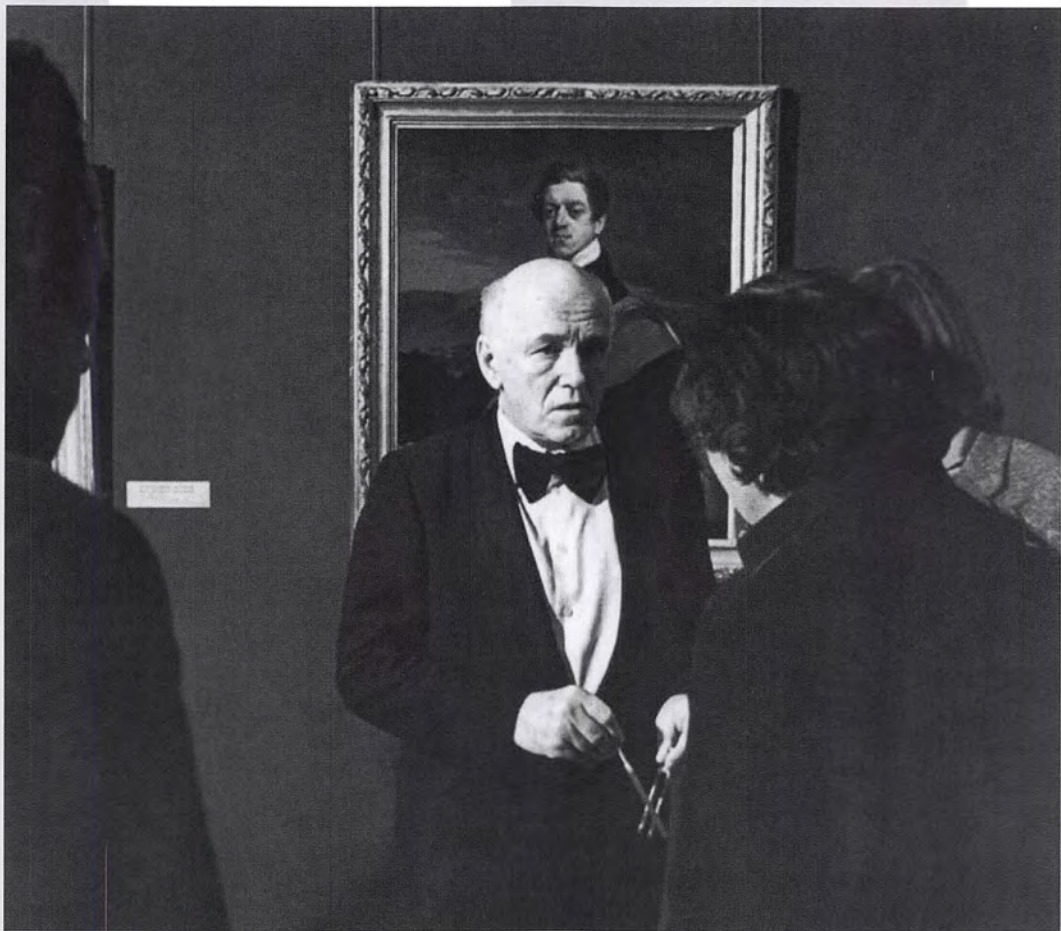


В дни Международного музыкального фестиваля, май 1981



4)

Иван Козловский, январь 1974



Святослав Рихтер, "Декабрьские вечера", 1984

Маквала Касрашвили,
декабрь 1974



Эдвард Мирзоян и Арам Хачатурян, январь 1974



6)



Юрий Темирканов и Родион Щедрин, май 1980



Сергей Стадлер, сентябрь 1982





Геннадий Рождественский на записи “Женитьбы” Гоголя
в “Мелодии”



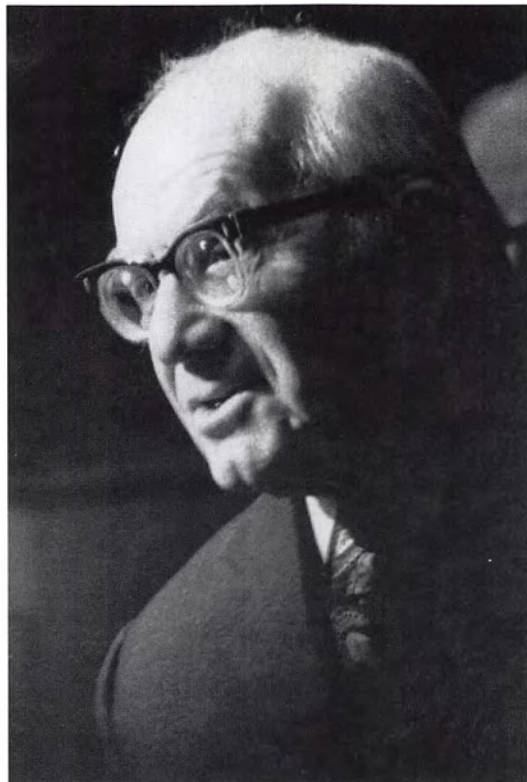
Георгий Жженов,
1973



Елена Камбурова,
октябрь 1970



Юрий Любимов, 1970-е



Игорь Ильинский,
январь 1976

Владимир Солоухин на встрече в МЭИ, 1970



12)



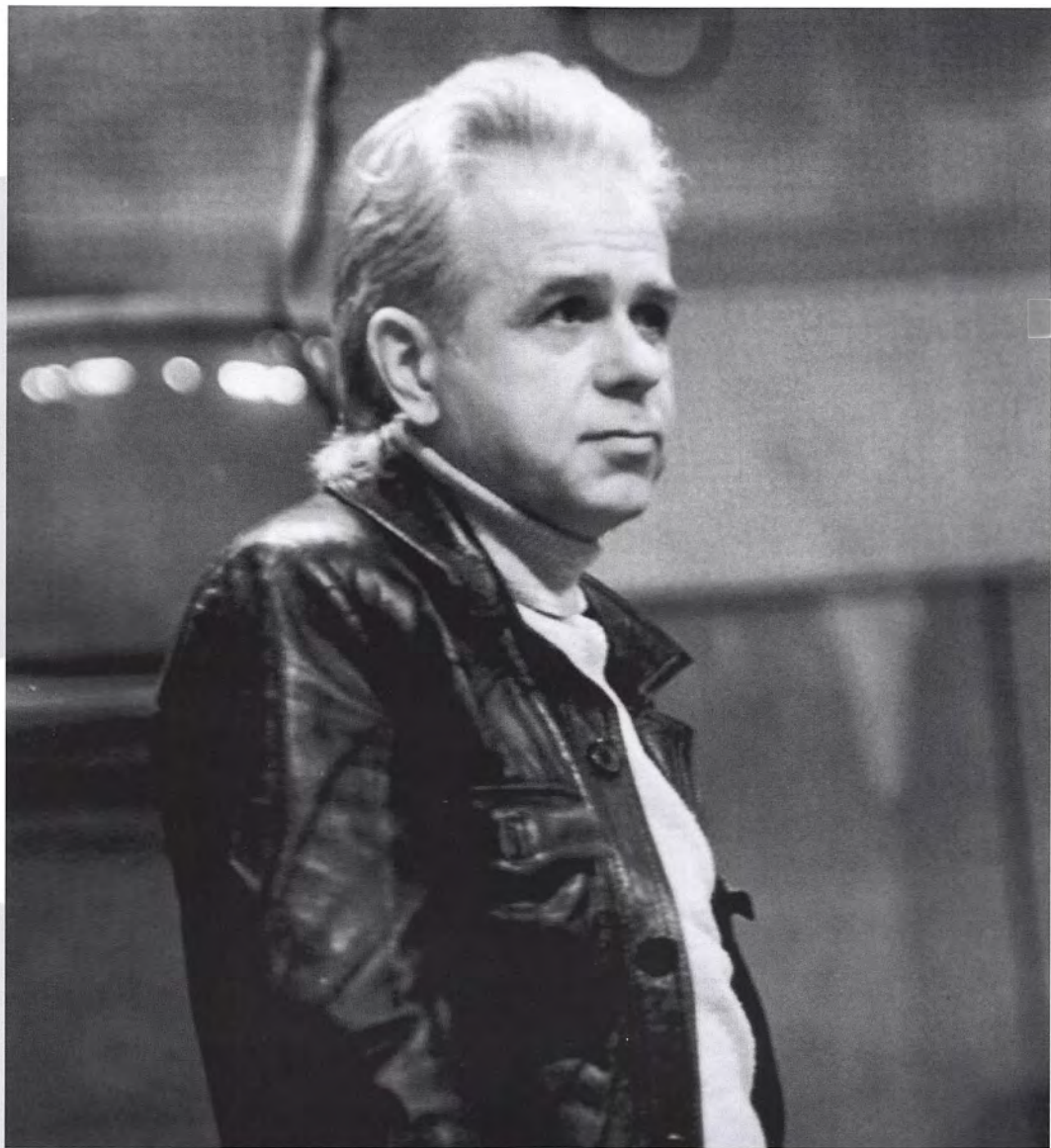
Зураб Соткилава, январь 1974



Евгений Леонов, 1971



Людмила Зыкина,
январь 1974



Эдисон Денисов на журфаке МГУ, декабрь 1981



Андрей
Вознесенский,
Октябрь 1975

Андрей Вознесенский и Родион Щедрин, январь 1974





17)

Андрей Вознесенский, май 1981



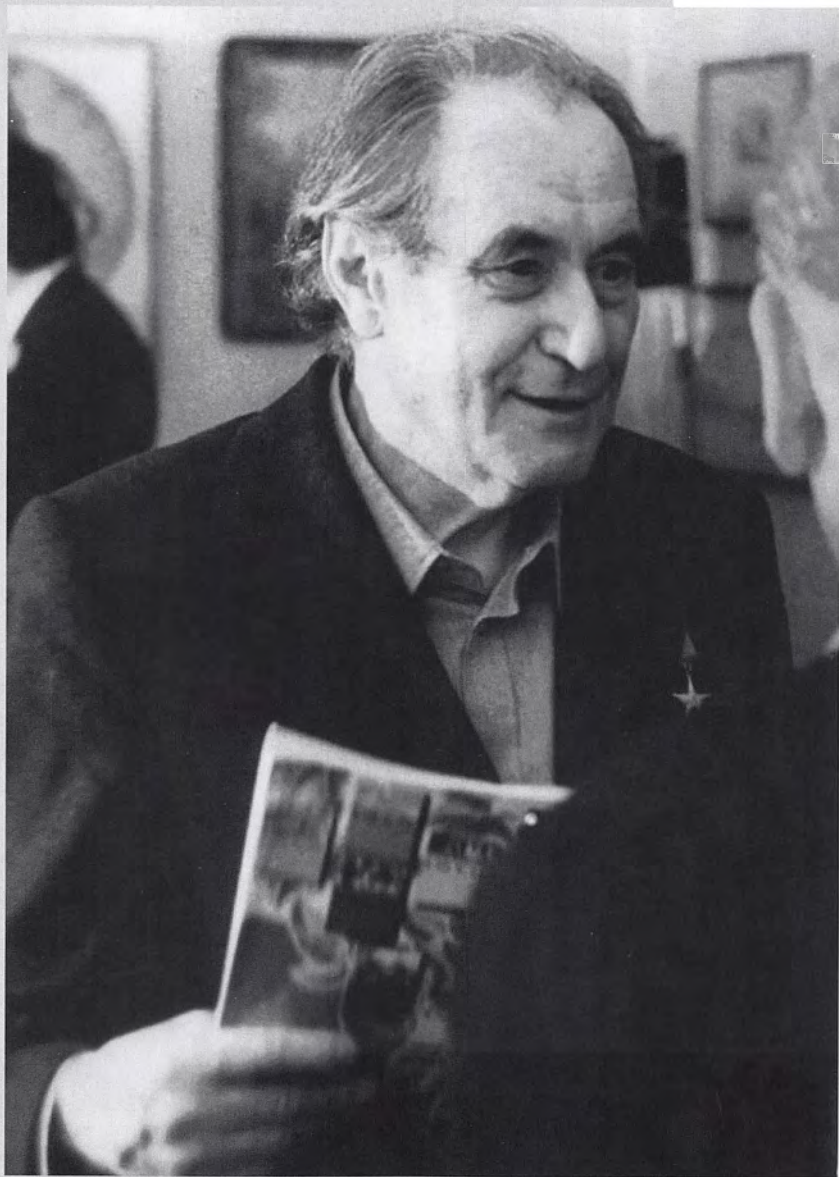
18)

B. Okudzhava

Буллат Окуджава, октябрь 1975

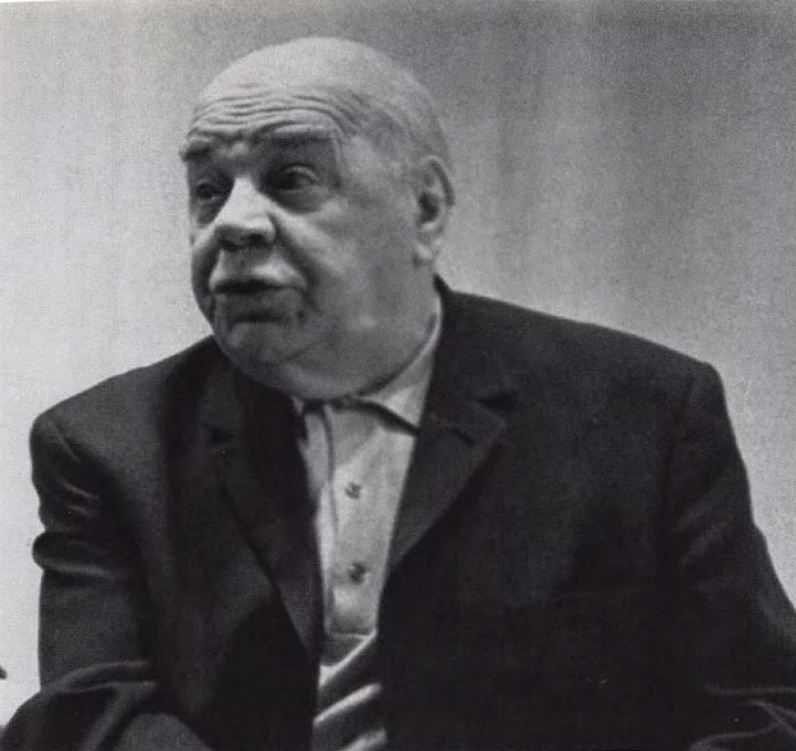


Владимир Высоцкий, январь 1980



20)

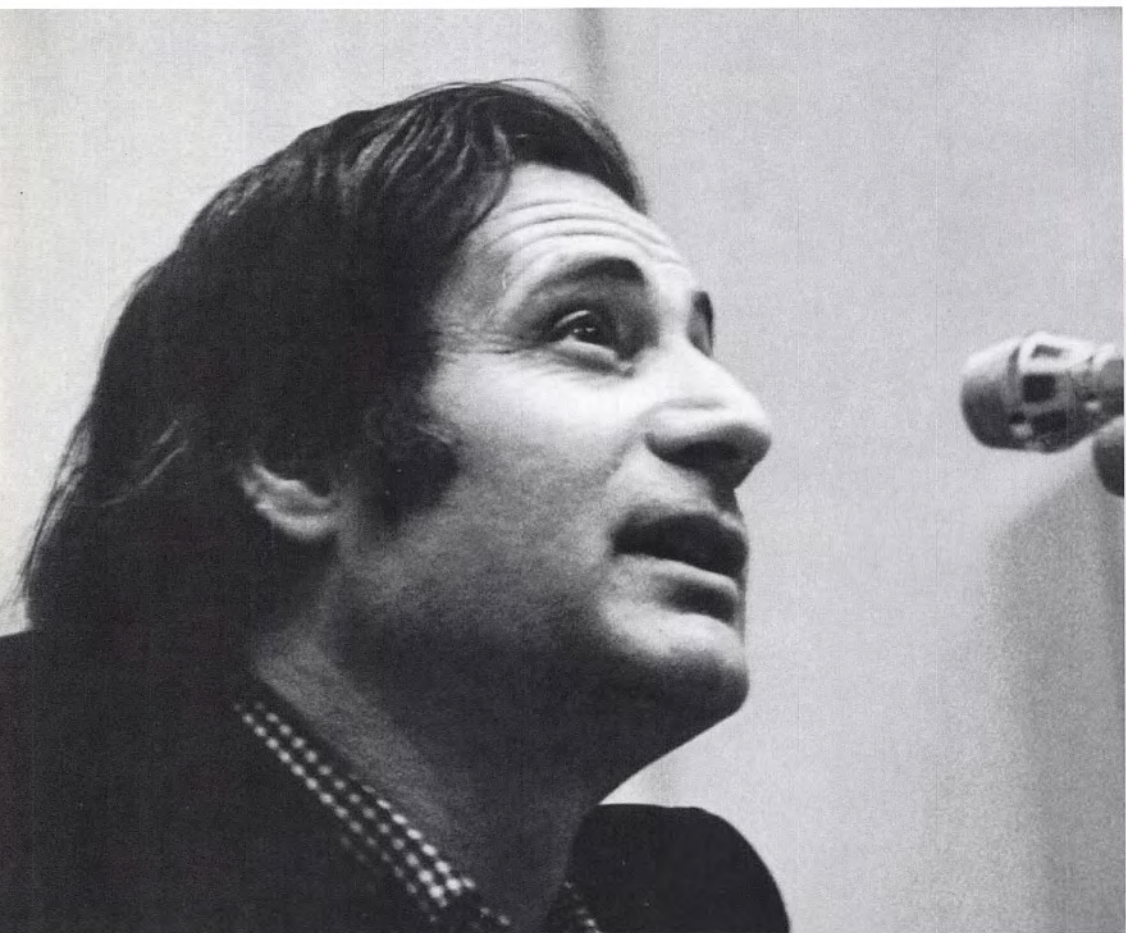
Валентин Катаев, 1971



Алексей Грибов, 1973

Георгий Менглет, 1973



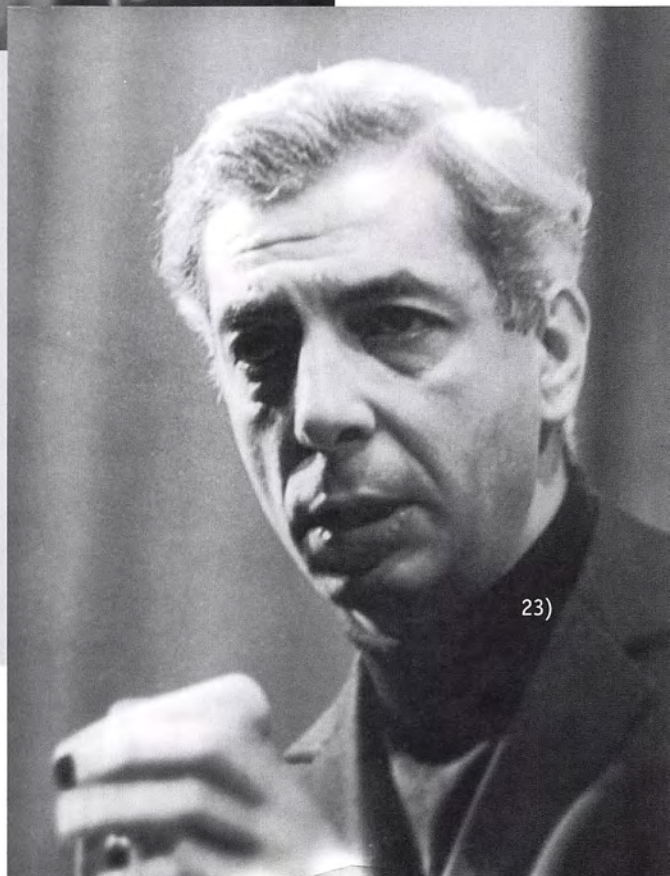


Альфред Шнитке, 1981



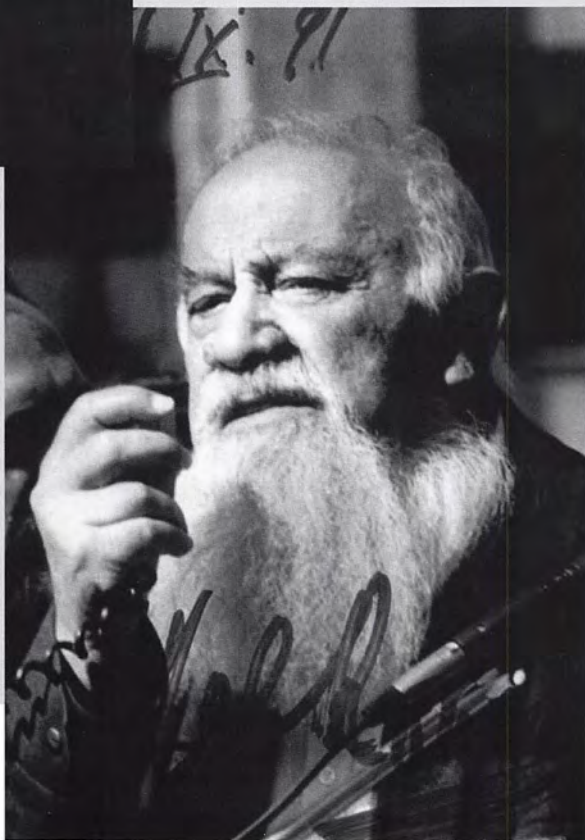
Константин Симонов,
1971

Микаэл Таривердиев, октябрь 1970





Вениамин Каверин, 1972



Лев Копелев, 1980-е

Майя Плисецкая,
январь 1974



Аркадий Райкин,
январь 1974



Белла Ахмадулина.
1969



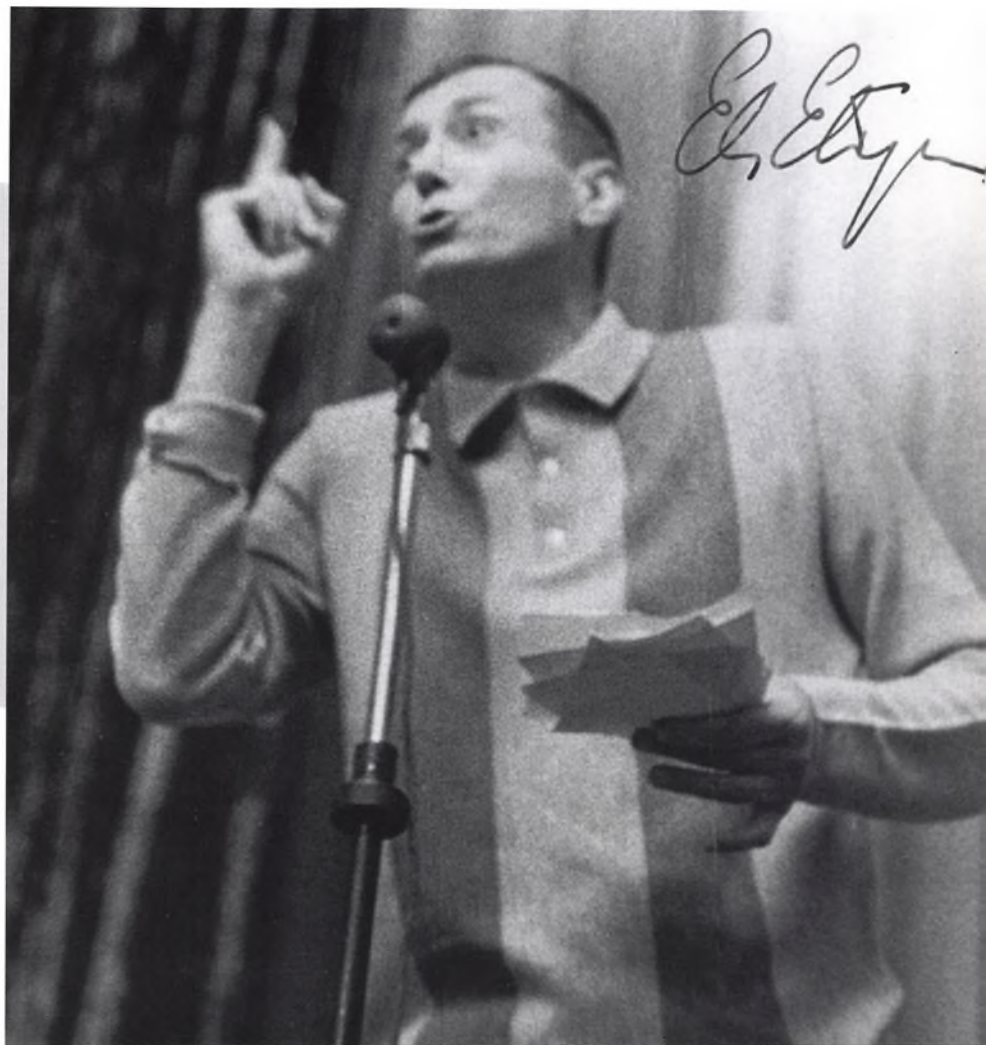
*Ахматова - с любовью и благодарностью
Белла Ахмадулина*



Арсений Тарковский,
январь 1976



Геннадий Бортников читает “Глазами клоуна” Г. Бёлля.



Евгений Евтушенко, октябрь 1971





31)

Наум Коржавин, 1989



Юнна Мориц, 1979

Марку Яковлевичу и Полине Семеновне Аминовым
посвящают издание этой книги
их сыновья, Вадим и Вячеслав

МАРИЯ ДУБНОВА
АРКАДИЙ ДУБНОВ

Танки в Праге, Джоконда в Москве



азарт
и стыд
семидесятих



Москва
2007

ДИЗАЙН ВАЛЕРИЯ КАЛНЫНЬША

Дубнова М., Дубнов А.

Д79 Танки в Праге, Джоконда в Москве. Азарт и стыд семидесятых. — М.: Время, 2007. — 288 с., илл.

ISBN 5-9691-0182-6

Одни вспоминают это время как затхлую эпоху, другие как самые интеллектуально насыщенные годы своей жизни. И что поразительно — нередко оба эти мнения высказывает один и тот же человек. И не замечает в своих словах никакого противоречия. Застойные семидесятые, прекрасные семидесятые... В чем был азарт, а в чем — страх того времени? О чем разговаривали на кухнях и на работе? Что говорили детям? Что вызывало чувство национальной гордости, а что — национального позора? Как люди «угадывали», кто свой, а кто — чужой? Как доставали книги? Какие культурные впечатления были самыми сильными? Мария и Аркадий Дубновы создали, собрали, подарили современникам удивительную книгу об эпохе, в которой копились силы для всех грядущих перемен и с которой мы никак не можем и не хотим расстаться.

ББК 66.3(2)3

ISBN 5-9691-0182-6

© М. Дубнова, текст, 2007
© А. Дубнов, фото, 2007
© «Время», 2007

Эпоха никогда не соответствует своим идеалам, зато идеалы всегда соответствуют эпохе. Они принадлежат ей не только генетически, но и функционально... Идеалы служат критическим коррективом движения, давая возможность постоянно сопоставлять сущее и должное. Они оказываются также средством социализации смутных потребностей и желаний индивида, помогая каждому узнать эти свои личные и частные желания в возвышенно-очеловеченной форме, сквозь призму общественных ценностей.

*Леонид Баткин. Ренессансный миф о человеке.
«Вопросы литературы», 1971*

.

Когда смешное хлещет в уши,
Само бессмертье хлещет в души,
Как виноградное вино,
И в передышке все забыто:
Короткий век, угрюмство быта,
И все трагичное — смешно!

Легко вернешься в муравейник,
Согреешь на плите кофейник,
На ужин зелень пожуюшь.
Равно простейшим и приматам,
Ты насладишься ароматом
Того, что длишься и живешь!

Юнна Мориц. Памяти Франсуа Рабле. 1966 г.

ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ

Азарт затхлой эпохи — вот что интересовало меня, когда я расспрашивала самых разных людей о семидесятых. Да и было ли это время уж настолько затхлым? Сама я, конечно, в полной мере знать этого не могу — десятый класс закончила в мае 1987 года. Весь застой прошел мимо меня, если не считать всевозможных Ленинских зачетов и походов по местам боевой славы.

В те годы жизнь была предсказуема и стабильна, никакие перемены не приветствовались: нехорошо было менять работу (или даже место работы), нехорошо разводиться... Но ведь люди должны были придумывать себе что-то, чтобы как-то разнообразить жизнь? Что провоцировало всплеск адреналина? Из каких событий частной жизни складывалась «жизнь человеческого духа»?

Из культурных.

Слишком много читали. С преувеличенным вниманием относились к роли театра (или кино, или классической музыки) в своей жизни. Хранили театральные программки. Вели дневники художественных впечатлений. Писали письма, в которых главными вопросами оказывались вопросы о смысле жизни. Собирали книги философов и даже пытались их читать. Могли ночь простоять за билетами в театр. Могли встать в шесть утра и поехать занимать очередь на выставку.

Самым свободным оказывалось время, проводимое на работе. Там вязали платья, обсуждали романы Торнтон Уайлдера, бесконечно пили чай. В обеденный перерыв уходили в кино. Отпуск — 24 рабочих дня, и совсем не жаль было часть этого отпуска потратить на поездку в деревню Константиново. Потому что в следующем году снова будет отпуск, да и за участие в демонстрации или за работу на овощной базе обязательно дадут отгулы.

Легкость бытия в рабочее время компенсировалась непрерывным преодолением трудностей после работы. Все, даже самое элементарное, достигалось гипер-усилиями. Нельзя было просто пойти и купить вкусную еду, красивую одежду или хорошую косметику. Куры продавались недо-оципанные, синюшные. На кусок мяса в магазине продавец специально клал кусок кости, «в нагрузку». А, что напоминать... Спросите, если не знаете. Нужно было либо «выиграть» продуктовый заказ, либо уметь «вступать в отношения» с мясником. Или с директором магазина. Самыми вкусными оказывались блюда, которые приходилось трудно и долго готовить. Самая красивая одежда — не из магазина, а та, что сшита своими руками. А лучше всего купить эту одежду у фарцовщиков, но это тоже нужно было суметь. Лучшая косметика — маска из геркулеса...

Преодоление трудностей, причем любых, и необязательно бытовых, было лейтмотивом того времени и воспринималось как норма жизни. В советской идеологии настоящее ценилось гораздо меньше светлого будущего или героического прошлого. Настоящее нужно было «проскочить», перебороть, перетерпеть — ради будущего счастья детей и всего человечества. Идеологическое пренебрежение к настоящему и повседневному так или иначе отзывалось в интеллигентских представлениях о жизни. Идея комфорта, устроенного и красивого быта не была доминирующей — и не только оттого, что на качественное обустройство дома уходило бы слишком много сил. Энергию принципиально тратили совершенно на другое.

Марксизм, который многие не принимали, но с которым вынуждены были мириться, все равно оказывал влияние на умы. Ежедневная и многолетняя идеологическая задача «воспитания сознательности масс» обернулась гипертрофированным отношением к печатному слову вообще, и к искусству и литературе в частности. Слово не имело права оказаться пустячком или безделицей, разве что сквозь такую «пустячность» проглядывал глубокий концептуализм. В большинстве художественных текстов (литературных, публицистических, искусствоведческих, театральных, киношных или даже живописно-графических) искали ключ к пониманию смысла жизни. Людям казалось, что смысл жизни зашифрован в культуре, и необязательно в той, что ходила в самиздате. С пристрастием читали Шекспира. Спорили на хрущевской кухне о поэзии Возрожде-

ния: где там поэзия, а где — Возрождение? Передавали друг другу книгу о современном кино Великобритании и назубок знали список из десяти лучших кинорежиссеров мира.

Кроме того, простота и бесхитростность подцензурной культуры, которые воспринимались часто как примитивность, вызывали ответную реакцию: людей тянуло к сложности. Недоверие к открытым словам вело за собой убеждение: правда должна быть «закодирована», трудно доставаема. Обо всем нужно было составить собственное мнение, официальной критике не доверяли. А значит — разыскать книгу, о которой говорят, и прочесть. Попасть на спектакль — и самому понять.

Жить легко значило жить неправильно. Девиз «Нет проблем!» воспринимался как показатель ущербности и даже духовной обделенности. Самоуважение приходило, если ты мучился над «проклятыми вопросами», зашифрованными в художественных текстах. Или хотя бы мог их сформулировать.

В этом был азарт того времени — лично дойти до сути этих вопросов. Казалось нормальным читать между строк, разгадывать театральный эзопов язык, продираться сквозь нарочито усложненный стиль искусствоведческих или литературоведческих работ, ходивших в «самиздате»...

Советская жизнь казалась прозрачной, предсказуемой, ее основы — незыблемыми. Известно, что было вчера, что ждет завтра. Известны правила поведения. Правда, правила эти каждый определял для себя сам, в зависимости от степени собственного конформизма. Люди по-разному определяли для себя степень дозволенного. Кто-то читал Солженицына, но отказывался хранить дома Марченко. Кто-то составлял «Хронику текущих событий», а кто-то говорил: «У меня семь человек в роду пострадали, я старался по возможности не выходить за рамки». А кто-то пожимал плечами: «Вся эта возня Максимова, Владимова не имела смысла... Это были игры части интеллигенции. А мы занимались реальным делом — и только это имело значение».

Я задавала всем одинаковые вопросы. Как доставали книги? Как попадали в хорошие театры? Какие культурные впечатления были самыми сильными? В чем был азарт, а в чем — страх того времени? Что наполняло жизнь? О чем разговаривали на кухнях и на работе? Что говорили детям? Что вызывало чувство национальной гордости, а что — националь-

ного позора? Как относились к партии, знали ли о диссидентах, попадал ли в дом самиздат? Мы говорили об эмиграции и о том, как вообще воспринимался Запад. Как люди «угадывали», кто свой, а кто — чужой, при ком можно произносить фамилию Солженицын, а при ком — лучше не надо...

Во время этих неспешных разговоров люди то и дело проговаривались: «Я как все... У меня все было так же, как у всех...» Они говорили — «мы». Все были уверены в принципиальной «одинаковости» застойной жизни. Однако оказалось, что общими были лишь азарт, с которым «поглощались» культурные ценности, да трудный быт. Национальная гордость, как и национальный позор, стали предметами разночтения. Как и отношение к партии и диссидентам, театру и самиздату. Их «мы» было тенью, которую отбрасывало официальное «мы, советский народ».

Не знаю, чем жили в это время в провинции, — я расспрашивала москвичей. Ненормальное, с сегодняшней точки зрения, желание переполнить себя художественными и культурными впечатлениями позволяло человеку сохранить себя как личность. К тому же в Москве было проще: у нас был театр на Таганке, была консерватория, был кинотеатр «Иллюзион». Да, колбаса тоже была, и за этой колбасой приезжали в Москву «колбасные» электрички. Но в провинции были роскошные книжные магазины. Однако местные жители книги почему-то не покупали...

В нашей книге тексты звучат контрапунктом к фотографиям. Потому что на фотографиях — лица тех, кто определял круг мыслей и круг разговоров той эпохи: поэтов, писателей, актеров, композиторов. Фотографии спектаклей, на которые ломилась вся Москва, снимки с репетиций знаменитых дирижеров. В. Высоцкий, Б. Ахмадулина, Г. Рождественский, Н. Коржавин, А. Демидова, И. Смоктуновский, спектакли Ю. Любимова и А. Эфроса, музыкального театра Б. Покровского, балеты Большого театра с М. Плисецкой и труппы Б. Эйфмана...

Эта уникальная коллекция фотографий сначала существовала как домашний архив Аркадия Дубнова. Выпускник МЭИ, научный сотрудник ВНИИАМ (Всесоюзного научно-исследовательского института атомного машиностроения), он на все спектакли, концерты, встречи актеров со зрителями ходил с фотоаппаратом. Снимал «для себя»: казалось важным

оставить память о событиях, наполнявших жизнь. Но с начала 1980-х его фотографиями заинтересовались редакции журналов «Театр», «Театральная жизнь», «Советская женщина», «Советская музыка»... После, когда началась перестройка, А. Дубнов ушел из инженеров в профессиональную журналистику.

А фотографии снова превратились в домашний архив. Как и коробка театральных программ, которые рука не поднимается выбросить. Все это — доказательства той жизни, которая ушла безвозвратно. Напоминание об эпохе, которая, к счастью, не вернется.

Как не вернется молодость моих родителей. И это, пожалуй, единственное, чего действительно жаль.

ИНЖЕНЕР

Дубнов Аркадий Юрьевич, 1949 года рождения. Окончил МЭИ в 1974 году. С 1974 по 1978 год — старший инженер ВНИИ Автоматизации черной металлургии (ВНИИАЧермет). С 1978 по 1990 год — старший научный сотрудник ВНИИАМ (Всесоюзного научно-исследовательского института атомного машиностроения).

Первый фотоаппарат — «Смена» — у меня появился году в 1961-м, а в 1966-м у меня уже был «Зенит ЗМ». Я учился в МЭИ, и на все встречи «с интересными людьми», которые проходили в нашем ДК, шел с камерой. Снимал «для себя», фотографии становились свидетельством того, что встречи эти были в моей жизни.

Я вообще храню много бумаг, разных записей. Раньше дневники вел... Для меня имеет значение любое документальное подтверждение прошедшей жизни: фотографии, открытки, письма, записочки разные. Даже театральные программки, которые я собирал с середины шестидесятых, до сих пор не выброшены. Храню и годовые подшивки первых «Независимых», и «Огоньки» первых лет перестройки, — хорошо, что на дачном чердаке много места.

Уже начав нормально зарабатывать, купил себе немецкую «Practica». А в середине восьмидесятых один американец, хирург, приятель жены, привез мне «Canon». Я отдал ему деньги «по курсу» — 66 копеек за доллар, кажется, — и он взял с меня рублей 200. Абсолютно гуманитарная акция с его стороны.

Моя теща дружила с мамой Евгения Рейна — они как-то оказались соседками по даче в Кратово. Однажды он, уже будучи автором «Метрополя»¹, приехал к нам домой. Стараясь развлечь гостя, я вывалил на стол фотографии. И вдруг он сказал, что все это достойно быть напечатанным.

Так появилась идея предложить себя в качестве фотокорреспондента театральным и музыкальным журналам. Я продолжал работать во ВНИИ-АМ, а по вечерам продолжал бегать в театры и на концерты. Но фотографии, которые я делал, начали публиковать, некоторые даже на обложках. Смешно: я, тридцатилетний взрослый мужик, инженер, гордился бумажкой, на которой было написано, что я — фотокорреспондент журнала «Советская музыка».

АВГУСТ 1968-го

В августе 1968-го мы с сестрой и ее мужем ушли в поход на байдарках по Мещере. 23 августа мы закончили наш поход в Рязани, сложили байдарки и отправились на вокзал, на электричку. И там, на вокзале, я купил «Советскую Россию».

Меня ждало сразу два потрясения. Я узнал, что умер Паустовский, которого я просто обожал. Второе — Чехословакия.

Как только мы приехали домой, я стал слушать радио. Было ощущение, что тебе дали под дых, ты согнулся и не можешь ни встать, ни вздохнуть. Мне было 19 лет, и это было крушение. Ужас. Я возненавидел власть, страну — они разрушили мои иллюзии.

Я с детства очень интересовался политикой, даже в школе все время делал политинформации. В институте стал активным участником семинара по истории КПСС, на котором с 1967 года все время обсуждали Чехословакию. В январе убрали Новотного, политбюро возглавил Дубчек. «Литературка» печатала фрагменты его доклада, что-то по радио переда-

вали... Весь мир говорил о Чехословакии. Мне казалось — вот он, просвет, выход. И на семинарах я «бил фонтаном», кричал о социализме с человеческим лицом. Наша доцентша ярилась, назначала докладчиков, которые должны были мне возражать...

Когда осенью я пришел в Институт, эта доцентша перестала со мной здороваться. И по истории КПСС мне поставили «четверку», хотя до этого у меня были одни пятерки.

Из-за Чехословакии я порвал со своей тогдашней девушкой. Я возмущался: «Как они могли! Весь народ был против!» — а она отвечала мне штампованными фразами, вроде: «Если бы не мы, тогда бы НАТО вошло»... Она оказалась совершенно зомбирована. Мне стало скучно.

События в Чехословакии во многом определили мое отношение к действительности. После я уже особенно ничему не удивлялся и ничего хорошего не ждал. Я понял, что никогда в эту партию не пойду.

Жизнь так сложилась, что случайных или неслучайных встреч с откровенными диссидентами у меня не было. Я часто себя спрашивал: если бы я до 1968 года оказался в кругу людей типа Ларисы Богораз или Натальи Горбаневской, пошел бы я с ними или нет? И до сих пор не знаю...

А чувство национальной гордости? Когда Гагарин полетел, конечно. А из более поздних событий, пожалуй, 1972 год. Когда наши с канадцами в хоккей сыграли².

И еще помню, как восхищался, когда американцы на Луну высадились. Я был просто счастлив. В этот день мне исполнилось 20 лет.

Я не думал о карьере. В институте я видел тех, кто рвался делать карьеру, — они были либо неразвиты и неумны, либо страшно циничны. Это отталкивало. Я был искренним, хотя и не наивным, и мне было неприятно участвовать в чем-то, во что ты совершенно не веришь, и делать вид, что сочувствуешь взглядам, которые не разделяешь.

В наши жизненные ценности карьера не входила, она не была значима, даже иногда осуждалась. И душевного дискомфорта оттого, что ты никогда не будешь первым и даже вторым на этой дорожке, не возникало: для самоуважения достаточно было, чтобы тебя ценили и уважали в твоей компании, плюс успех у девушек. Мы жи-

ли насыщенной внутренней жизнью, которая никак не зависела от власти.

ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА

Пятое июня 1967 года. У нас на работе завлаб, Леонид Леонидович Сабсович, член партии, зачитывает вслух газету: проводит политинформацию о событиях на Ближнем Востоке. Мол, сионистский агрессор напал на прогрессивные демократические режимы Египта и Иордании. Я тогда не был большим евреем и не очень переживал за право евреев на собственную территорию и безопасность. Сабсович читал без эмоций, помню только, что в голосе у него было напряжение.

На следующий день приходим на работу — а завлаба нет. К вечеру забеспокоились, позвонили домой. А жена говорит, мол, он работе, дежурил всю ночь. Тут все стали на уши и начали искать Сабсовича.

Вскоре выяснилось, что он сидит 15 суток за хулиганство.

Подробности инцидента узнали, когда завлаб вернулся на работу. Наголо обритый, весь мятый-перемятый. Мы даже решили сначала, что он в пижаме. Общее молчание. Сабсович прошел в кабинет. Мы продолжили работу.

Оказалось, что после политинформации он пошел в метро, и в метро бурно обсуждали начавшуюся войну сионистов с прогрессивными арабами. Типа «этих жидов давно надо предавать». Сабсович, мощный 45-летний мужик, попросил: «А ну, повтори!» — «Ах ты, жидовская морда!» И Сабсович вышвырнул мужичонку из вагона на перрон. Потасовка. Милиция.

Кто зачинщик? Сабсович. Он не согласен с политикой партии и правительства. Я уверен, что в свою защиту он ни слова не сказал. Просто пошел и 15 суток шваркал метлой по бульварам.

Для меня этот случай стал удивительным свидетельством того, что я все-таки лопух и не еврей. Ведь я не счел себя так сильно оскорбленным.

С тех пор еврея во мне стало больше.

ОТЕЦ

Родной брат отца уехал в Палестину в 1911 году. Отец не поехал — на его попечении оставались старые родители. Он воевал, пережил самые

тяжелые времена борьбы с космополитизмом, никогда не был членом партии.

Отец переписывался с дядей, но скрывал это от нас. Его вызывали в комитет, допрашивали о характере отношений с братом (хотя, разумеется, они все письма и так читали).

В 1962 году — мне было 13 лет — отец впервые за 50 лет увидел брата. Дядя Нема приехал в турпоездку в Ригу, и мы с мамой и отцом полетели туда. Я впервые летел на самолете Ил-18. Дядя Нема жил в гостинице...

А потом в комитете отцу продемонстрировали фотографии с этой встречи, сделанные откуда-то из люстры. Мы поняли, что за нами следили...

У моего брата затормозилась карьера, начались проблемы с защитой диссертации. Что случилось? — У вас, оказывается, дядя в Израиле...

И отец перестал переписываться с дядей. Чтобы у старшего сына сложилась карьера.

В начале 1970-х в Израиль уезжала моя двоюродная сестра. Они с мужем приехали к нам попрощаться, но отец говорил с ними очень жестко. Он сказал, что это не его власть, что к большевикам он никогда не испытывал добрых чувств, но «это моя страна, и я осуждаю эмиграцию». В меня эти слова «попали», я никогда их не оценивал — они во мне были, и все. Отцовские слова стали фундаментом для всех последующих решений по эмиграции.

Кроме того, мысль, что я могу оставить здесь старых родителей и уехать, была совершенно невозможной.

Первый раз я оказался за границей в 1972 году, в Венгрии. Мне было 23 года, и меня поразила свобода нравов: люди раскованно вели себя на улицах, ходили в обнимку, целовались. На траве валялись. Я сфотографировал девушку, очень сексапильную, в черной обтягивающей юбке, и на самом неподходящем месте у нее была аппликация — желтое сердце. Когда я показал это фото в Москве, все только цокали и удивленно матерились.

Я был самодостаточен и не испытывал дискомфорта от того, что они, свободные, раскованные, там, а я — здесь. Я знал, что живу в закрытой стране, в чем-то ограничен, не могу открыто читать какие-то книги. Но при этом я жил насыщенной жизнью: Мы все — люди, близкие мне по воспитанию, образованию, кругу чтения, — знали, что есть страна, есть власть, и есть ты и круг твоего общения, твоя среда. И этой среды было достаточно, чтобы удовлетворить свои профессиональные, духовные и ментальные потребности.

Наверное, в этом был конформизм.

Мне были неприятны фарцовщики. Мне не хотелось быть одетым, как западный человек, я не смотрел на иностранцев как на представителей высшей расы или как на инопланетян. Тем более что я знал иностранцев достаточно близко.

В 1974 году я познакомился с Юнной Мориц, мы дружим до сих пор. У нее дома я встречал многих западных журналистов, аккредитованных в Москве. Одна из этих журналисток даже была у меня на свадьбе, в Малаховке. Для нее это была абсолютная экзотика, что-то вроде полевого исследования, примерно как оказаться где-нибудь в бунгало в Африке: дом с печкой, туалет на улице, хоть и теплый...

Жене очень хотелось поехать за границу, но для оформления документов нужна была медсправка: анализ мочи и все такое. И у нее, как назло, этот самый анализ оказался плохим. Нужно было пересдать, но она волновалась, что снова все будет плохо, и ее не пустят... Не помню, куда. В Венгрию, Румынию... И тогда я предложил: «Ну какие проблемы! Давай сдать!»

Шел конец семидесятых, мы еще не сомневались, что полностью здоровы. Но мой анализ оказался еще хуже. Наметилась опасная тенденция, которая полностью перевернула ее перспективу поехать. В семье разгорелся дикий скандал, который аукался чуть ли не до дня развода.

ТЕАТРЫ

Театр был свидетельством твоей принадлежности к интеллигентскому сословию. Ходишь в театры — значит, интеллигент.

Я был знаком с театральной кассиршей. Как только она получала на руки билеты, я приходил к ней домой и «выгребал» все самое интересное. У меня было «право первой ночи» — я был оптовый, регулярный покупатель: брал билетов рублей на сто, сто сорок. И деньги возвращал ей потом, когда «реализовывал» все билеты. Никакой «нагрузки» кассирша мне не давала — она просто брала за каждый билет рубль сверху.

Я обеспечивал билетами всех: друзей, их родственников, коллег по работе...

КНИГИ

Первая книжка тамиздата, которая попала мне в руки, был «Доктор Живаго» в очень тонком переплете. Формат «покет бук», завернут в газетную бумагу. Мне было лет двадцать, и одноклассник дал мне роман на две ночи. Но я был разочарован: я-то ждал, что по силе это должно было быть равно «Войне и миру»... И только когда я дошел до «Стихов Юрия Живаго», то был поражен. Даже мурашками покрылся.

Я никогда не перепечатывал книг на машинке, но отдал очень много денег, чтобы девушки переснимали мне книги на ротапринте. Стоило это то ли 10 копеек за страницу, то ли 20...

Я собирал книги, покупал их в «Букинистах», в «Доме книги», в «Академкниге»... Я люблю книги трогать, листать, нюхать. Я собирал альбомы графики, с иллюстрациями Фаворского, Горяева. Детские книжки покупал, в которых были рисунки Билибина, Мавриной.

У нас в Малаховке, в книжном магазине, часто попадались неплохие книги, и я всегда брал несколько экземпляров — друзьям подарить или поменяться.

Но лучшие книжки я привозил из Липецка, когда ездил в командировки на Липецкий металлургический завод.

Семидесятые. У входа в «Букинист» мнется немолодая пара, лет по 40, с книжкой в руках. Хороший переплет, видно, что книга старинная.

— Что продаем?

А у меня дома — двухтомник Леонида Андреева, на обложке которого издатели поставили его автограф — факсимиле. И я вдруг вижу, что в их

книге на авантитуле черными чернилами стоит подпись Л. Андреева. Настоящая. Я обалдел.

— А почему в магазин не несете?

— Да они говорят, что книга с автографом, и ее нужно сначала оценить. Узнать, не библиотечная ли. Но мы приезжие. Нам неохота.

— А сколько вы хотите?

— 15 рублей дадите?

15 рублей означало «дорого». Хотя я понимал, что для такой книги это совсем немного, но все равно набрался наглости и начал торговаться.

— А за 10?

— Нет

— За 12?

— Давайте.

Я схватил книгу и побежал хвалиться на работу. Все ох...ели.

ЛЕТО 1980-го

Для меня это вовсе не был год спорта — шел первый год афганской войны. Мне 31 год, и к этому времени уже была не только Чехословакия, но и Польша 1979 года, «Солидарность».

Прихожу на работу, мне звонит брат: Высоцкий умер.

Не просто национальная трагедия. Ощущение — этого не может быть! Мы все его слушали.

Нас не интересовал его роман с Мариной Влади, мы не знали, что у него был первый в Москве «Мерседес», но его песни были обязательным, необходимым атрибутом нашей жизни.

25 января 1980 года он приходил к нам, во ВНИИАМ. У меня и фотография есть. Я не пошел на похороны, это почему-то не пришло в голову. Потом жалел.

ЧЕРНОБЫЛЬ

Я работал на многих атомных станциях и знал, что произошло в Чернобыле. Знал, что именно там произошло, знал, какого уровня там радиация. И когда увидел по телевизору первомайскую демонстрацию в Кие-

ве, то понял — все. Это мой предел. Ненавижу. Меня чуть не рвало от этой мерзости.

А мне не верили, со мной спорили, говорили, мол, если бы все было так плохо, то женщин и детей вывезли бы...

ИНЖЕНЕР

Плотников Дмитрий Давыдович, 1949 года рождения. В 1970—1980-е годы — инженер Второго московского приборостроительного завода.

В 1967 году я окончил школу и поступил на вечерний экономический факультет МАИ. Я думал, что раз институт авиационный, значит, я буду летать, сидеть за штурвалом самолета... Но там не оказалось ни Чкалова с Байдуковым, ни космонавтов. И после института я начал работать в планово-экономическом отделе Второго московского приборостроительного завода. Узнал пару военных секретов: например, в каких городах есть самолетостроительное производство.

Однажды, в начале семидесятых, я случайно познакомился с Митей Погоржельским³. Мы праздновали Новый год, завалились в соседнюю квартиру, где тоже выпивали, и познакомились. Через Митю, который был сыном известных актеров театра Моссовета, у меня появился новый круг друзей: актеры, режиссеры, киноведы...

Я начал бредить театром. Учась в МАИ, я даже пытался поступить в театральное училище, но моя красота никого не пленила, а читал я плохо. И поскольку на Рыбникова я был не похож, то понял, что мне самая прямая дорога — в режиссуру, потому что я ведь очень умный... Я в то время писал какие-то рассказы, армейские наблюдения, и через приятельницу Мити Ольгу Суркову⁴ мне удалось показать эти сочинения Глебу Панфилову. Глеб в то время только снял «В огне брода нет» и мечтал снять фильм о Жанне д'Арк. Но в Москве ему сказали, что пока с фильмом ничего не получится, и предложили преподать на Высших режиссерских курсах. Панфилову понравилось то, как я писал, и он сказал Ольге,

что берет меня. Мало того, Глеб Иванович так извернулся, что мне Ленфильм даже дал рекомендацию. Я ходил гордый, как статуя Свободы...

Но на Высшие режиссерские курсы меня не взяли. Я убежден, что из-за пятого пункта.

На следующий год, в 1977-м, я поступал к Герасимову во ВГИК. Вместе с Рогожкиным, Борей Берманом... У Рогожкина балл аттестата был на единицу выше, и его взяли, а меня — нет. Мы были в конце списка: два кандидата на одно место.

Но параллельно я все это время работал на заводе. В шесть утра подъем, в семь выходишь из дома, в восемь — начинаешь трудиться.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

В театры мы ходили часто. В то время в театре Моссовета появился Эфрос, и мы ходили на репетиции «Турбазы»⁵. Мы просто жили этим спектаклем, были влюблены в Неелову, в Пшенную. Хотя все было на расстоянии, без рук... Актеры с нами советовались, для них это был взгляд со стороны. Помню, как после репетиции Плятт заходил в гримерку к Ирине Павловне Карташевой, маме Мити Погоржельского, помню все, что было связано с разрешением, изменением спектакля, первый инфаркт Эфроса...

Я тогда еще бредил режиссурой, и старался много ходить в театры. Мне было очень интересно. К тому же у меня было много друзей актеров.

Актер из «Современника» Володя Суворов летом устраивался работать пионервожатым в МИДовский лагерь, а мой брат был там старшим пионервожатым. Ну и меня еще с 10-го класса устраивал помощником вожатого... И с тех пор дружба с Володией сохранилась...

Или в Маяковке, например, работал Саша Мартынов, с которым мы подружались, когда он еще учился во МХАТе. Через него познакомился с Андрюшей Глузским, сыном Михаила Андреевича. Как раз у Глузского мы отмечали Новый год, когда заскочили к Погоржельским...

Моя первая жена окончила Институт культуры, режиссерский факультет, и ее друзья — в том числе Иосиф Райхельгауз — приглашали на спектакли, которые они ставили или где ассистировали.

К тому же много лет мы ездили всей компанией в Щелыково⁶, и там тоже завязывались дружеские отношения. Например, с Колей Караченцовым мы были близкими друзьями лет пятнадцать: когда он познакомился со своей женой, все начиналось у нас на кухне в Бабушкине. Коля приглашал и на свои премьеры. Через него я подружился с актерами Ленкома, с Таней Рудиной.

И каждый день после института, а потом и после работы, мы ехали что-то посмотреть, потом — к кому-нибудь посидеть, выпить. Потом — домой. И очень редко ходили по билетам, мне кажется, что я их вообще не покупал. Это был стиль — ты идешь, если тебя приглашают. Поэтому, какие билеты?

В этом тоже был азарт: тебе казалось, что ты принадлежишь к божьему миру. Мир этот был очень закрытый и очень маленький. Когда я рассказывал моим друзьям по работе или по институту, что был там-то и с тем-то, то им это казалось невероятным. Наверняка я хвастался. Иногда меня просили: а можно, мы с тобой пойдём...

Мы много ходили на «подпольные», неофициальные спектакли. Лариса, моя первая жена, была художественным руководителем ДК им. Русакова, и друзья могли у нее в ДК репетировать «закрытые» вещи, без всяких одобрений Главлита⁷, без всякого приема спектаклей... В конце — середине семидесятых они ставили «Чинзано» Петрушевской, фрагменты из Ионеско, Беккета... Все это показывалось друзьям.

Кроме того, были домашние спектакли, которые ставились в квартирах.

В старой квартире на ул. Чехова Игорь Васильев из МХАТа ставил что-то из протопопа Аввакума. Актеры играли по периметру жилой комнаты, горели свечи, а зрители полтора часа стояли в центре. И мне стало плохо, дурно. Духотища, свечи кадят... Я сел на пол, обхватил голову руками. А говорили потом, что вот какой сильный спектакль, одному человеку даже плохо стало...

Во всем этом не было никакой показушности — все делалось очень искренне. Интересно было мнение любого, кто пришел на спектакль. А у нас возникало чувство посвященности и протеста одновременно.

УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ

Как правило, после спектакля шло выпивание и обсуждение. Безыдейно мы не выпивали. Кроме спектаклей обсуждали книги, кино, политику. В своем кругу мы честили политику только так, но больше на эту тему ржали... Страха не было, но Карташева, у которой был репрессирован отец, говорила нам: «Слава богу, что вы можете смеяться сегодня, а попробовали бы в сталинское время...» Читали самиздат, который приходил по разным каналам. В самиздат попадал и журнал «Москва» с «Мастером», в который были вклеены напечатанные на машинке купированные страницы... Солженицын, «Окаянные дни» Бунина...

Конечно, были свои «лакмусовые бумажки», по которым мы понимали: «свой» или нет. Если человек говорил о Булгакове: как вы можете читать этого антисоветчика, то разговоры в его присутствии прекращались. Или если в гостях у Карташевой оказывался член худсовета Минкульта. Тогда тоже все старались вести себя чинно, глупости не говорить, в штормы не сморкаться...

Высылка Солженицына воспринималась как позор. Мы прямым текстом называли всех подонками, но выйти на площадь в голову не приходило.

Практически все мои друзья были членами партии, куда вступали не из идейных, а из карьерных соображений. Если ты надеялся чего-то добиться в этой жизни, то членство в партии было таким же условием, как высшее образование...

Я был секретарем комитета комсомола в НИИ, где я работал, еще учась в институте. И пришла разнарядка, что нужно принять в партию двух человек из интеллигентной среды. И вот нас с моей заместительницей, молодой развратной сучкой, приняли в ряды КПСС. Хотя в голове у меня было совсем другое...

Но наш протест ограничивался кухонными посиделками. Конечно, были попытки выступить против несправедливости, но на бытовом уровне: на работе, в институте... Все эти попытки заканчивались неудачей, но почему — понятно только теперь. А тогда мы кипели: как же так, это же очевидно! Так не должно быть! Да, Митю исключили из Университета, но есть

же порядочные коммунисты! Мы знали, что сталинские времена были чудовищными, но о Ленине так не думали. Мы считали, что Сталин все извратил.

Никто не думал, что коммунизм кончится в восьмидесятые. Хотя мы и ржали, что «по просьбам трудящихся в 1980 году коммунизм был заменен Олимпийскими играми», но мы думали, что все-таки строим коммунизм. Когда вышла книга Андрея Амальрика «Просуществует ли СССР до 1984 года?», нам было смешно. Конечно, просуществует!

Я помню, что Хоннекера за месяц до крушения берлинской стены спрашивали, допускает ли он мысль, что когда-нибудь две Германии объединятся. И он сказал, что эта стена будет стоять вечно. У нас было точно такое же ощущение реальности. И людей, которые могут сказать: да, мы предвидели, думаю, было очень и очень мало.

Летом 1980 года меня призвали на военные сборы, и я был в Питере. Но мне удалось уговорить командиров отпустить меня на несколько дней в Москву: я пообещал, что привезу им какую-то фигню типа самоклеящейся пленки — у меня знакомые работали на Мытищинском строительном комбинате.

И я приехал в пустую Москву. В день закрытия Олимпиады я шел по Калининскому проспекту, где, кроме меня, было еще четыре милиционера. И все. Это было как после термоядерной войны.

ВЫСОЦКИЙ

О похоронах Высоцкого я не знал. Мы его песни знали, но понимание его масштаба пришло позже. А тогда — знали, что пьяница, что много ездил, что в кино снимался, в театре играл, все при нем, жена-француженка...

В нашей компании мы Высоцкого не пели: мы пели Визбора, Окуджаву, Галича, Кима, Клячкина. И свои песни, конечно, — все же сочиняли...

КИНО

Мы хорошо знали фильмы Тарковского, даже встречались с ним один раз. Ольга Суркова была замужем за его братом, и одно время даже бы-

ла его биографом: он только ей давал интервью. Ольга и проводила нас на его премьеры, мы ходили и на Мосфильм, и в Дом кино.

И так же в Дом кино я ходил смотреть Феллини. Кроме того, при «Иллюзионе» был курс лекций на разные темы: актеры мирового кино, режиссеры мирового кино... А после лекции показывали фильмы. Я на лекции не ходил, но поскольку Карташева со всеми дружила, то через нее я познакомился не то с администратором, не то с директором «Иллюзиона». Мне давали возможность выбрать, что я хочу посмотреть, и оставляли билеты. И я ходил довольно часто. Особенно когда готовился к поступлению.

ЗАПАД

Весь западный мир воспринимался как что-то нереальное. Мы все читали Маркеса, и Запад казался абсолютнейшим Маркесом. Мой брат учился в МГИМО, а мать его лучшего друга работала в библиотеке ООН. Конечно, в том доме было все, включая Playboy, у них весь мир стоял на полках. Но все равно было ощущение, что мир Запада — что-то из «истории», не имеющее к нам непосредственного, реального отношения. Хотя у брата многие друзья и бывали, и подолгу жили за границей...

ЖУРНАЛИСТ

Багаряцкий Борис Борисович, 1942 года рождения. С 1969 года до середины 1980-х работал в разных московских изданиях.

С 1965 по 1967 год я был в тунейдской ссылке в г. Зима Иркутской области. Это была, как мне кажется, первая — самая мягкая — форма борьбы не с инакомыслием, но с асоциальными явлениями.

Было несколько смешных моделей антисоциального, антиобщественного поведения. Например, нельзя было заходить в валютные бары.

Нельзя было общаться с иностранцами и покупать у иностранцев тряпки. А мне американцы были очень интересны.

Я работал на ВДНХ, в павильоне профтехобразования, и рассказывал крайне редким посетителям о разных моделях, которые там крутились. А в соседнем павильоне стоял огромный студийный магнитофон. И я поймаю какого-нибудь американца, суну ему рассказик Хемингуэя: «Читай!» А потом слушал: вот как это звучит, скажем, в Айове. А потом ловлю другого, а он оказывается из Нью-Йорка. И я записываю, как это звучит в Нью-Йорке. Такое у меня было самообразование.

К тому времени я успел уже бросить иняз: мне очень не понравилось, что меня, уже достаточно хорошо знающего язык, стали учить произносить «The». А до того бросил физфак — там мне тоже не понравилось. Так что я был вполне антисоциальным выродком.

И вот однажды я напоил какого-то американца пивом на ВДНХ так, что из ушей текло, и потом мы с ним прошли по двум-трем валютным барам, что в мои 20 лет, естественно, мне жутко нравилось. Бары были точно в «Метрополе» и, кажется, в «Национале».

И меня посадили на 15 суток. Четверо суток я провел в 108-м отделении милиции, а потом 11 гениальнейших дней в Бутырке, где моим максимальным антисоветским жестом стало написание на стене камеры:

Гордитесь вы своей эпохой,
А мне эпоха ваша по х....

Я даже диссидентом не был.

Была огромная камера, может, рассчитанная человек на 30—40, и значит, нас там было около восьмидесяти — московская шелупонь, мальчишки. Мы говорили на одном языке, все друг друга понимали.

Нас выводили гулять в великолепно чистый двор Бутырки, и каждый вертухай показывал, где сидел то ли Пугачев, то ли Разин. Если хотел погулять еще — тебе могли дать в руки метлу, и можно было часа два подметать этот кристально чистый двор. Я гулял — мне в камере душно было.

Судили меня почему-то как тунеядца, хотя тунеядцем я никак не мог считаться — у меня трудовая книжка лежала в павильоне ВДНХ, я ее потом, лет через 20, забрал. Начальник моего паспортного стола, человек,

видимо, порядочный, говорил на суде: «Да он не тунеядец, вот у него трудовая книжка!» Но суд в лице единственного судьи, совещаясь на месте, решил, что мы не будем востребовать трудовую книжку с ВДНХ. В зале сидело человек пять кагебешников, может, восемь.

Думаю, мне бешено повезло, что меня так быстро скрутили за тунеядство: вертись в центре, среди той же публики, через два года я запросто мог быть судим уже в качестве шпиона... Я бы наверняка стал гонять самиздат. А так — меня загнали в Сибирь. Государство меня спасло от растлевающего влияния.

Я лес валил, на пилораме работал, грузчиком был. Мешки носил и на спор двухсотлитровые бочки, несмотря на худощавость, 44-й размер брюк и бараний вес — 60 кг.

Потом оказался внештатным сотрудником местной газеты. В 1967 году меня освободили по амнистии, я уехал в Улан-Удэ, женился там, потом развелся, работал в «Молодежи Бурятии». Спутался с местной интеллигенцией. Подружился с заместителем главного редактора журнала «Байкал». Они напечатали Белинкова и Стругацких⁸, из-за которых был большой скандал.

Потом я вернулся в Москву. Я жил на ул. Грановского, рядом журфак, дружки... Мы стреляли по 20 копеек — и набиралось на бутылку водки. Одновременно бегал с фарцовой командой. У нас была абсолютно анти-социальная тусовка, которая не представляла угрозы режиму: на халяву выпить, продать рубашку, заработать на полбутылки водки, на вторую добавить...

В газете «Метростроевец» работала моя знакомая по Улан-Удэ, Фая Блинова. Самобытный, очень хороший человек. Я потерял московскую прописку из-за ссылки, но она меня поддержала и взяла к себе на работу: мол, нет прописки — и не надо.

Я поступил на журфак, но через год какие-то кураторы пришли к Заурскому⁹ и сказали, что «этого не надо». И милейший Ясен вынужден был меня отчислить. Я прописался в Волгограде (мой приятель работал стоматологом в деревне в Волгоградской области, и туда можно было прописать хоть Курта Воннегута, никто бы не заметил). Поступил на заочный в ГИТИС, взяв интервью у Моти Горбунова¹⁰.

По пьянке мне чуть было не поставили еврейскую национальность, к которой я не имею никакого отношения. Но мне говорили: «Ну вдруг ты захочешь уехать — будет неплохо». Но что-то не вышло с паспортным столом...

В Москве я сочинительствовал для всех, кто платил гонорары. Сельхозпроблематика — так сельхозпроблематика, инновещание — так инновещание (слава богу, я негра мог понять по-английски). Печатался в АПНовских журнальчиках — приятели давали подзаработать по 20—50 руб.

Сестра Таня читала журнал «Химия и жизнь» и узнала, что там нужен человек. Я в районках, многотиражках, областных комсомольских газетах привык писать, про что надо. Мне было все равно, химия — так химия. Я до сих пор не понимаю, как меня взяли в штат.

Это был не цинизм, а абсолютный пох...изм. Мне было интересно жить, мне было интересно зарабатывать журналистикой.

Как-то написал статью о комбайнерах, и они предложили приехать к ним в Курганскую область на уборку и подзаработать. И я работал штурвальщиком на комбайне. И вдруг выяснилось, что наш бригадир, такой ма-а-аленький дядя Саша, отец секретаря райкома комсомола, слушал Сахарова и Солженицына, правда, путая их. И пересказывал нам. Вот ему было не все равно, он был идейный противник системы.

Азарт был в том, чтобы «выпить все, на что стрельнется, трахнуть все, что шевелится». Мы и говорили о бабах да о выпивке. Люди делились на водочников и портвейнщиков. Водочники любили сухие вина.

Я никогда не участвовал в МХГ¹¹, в политических, диссидентских ту-совках — не потому, что не хотел, но просто со мной совершенно случайно никто из этих людей не познакомился. Жизнь меня не столкнула с этими, более продвинутыми, чем я, людьми, которые делали «Хронику...»¹². Будучи человеком отзывчивым и обязательным, я бы обязательно в это ввязался. Но ведь никто из них о себе не кричал, и можно было ходить по тем же улицам, жить в соседнем подъезде — и не столкнуться. К тому же я, наверное, производил впечатление человека общительно-го и потому болтливом. Может, боялись, что трепану. Народ же не хотел садиться.

А злобы на советскую власть у меня не было. Система казалась вечной — да мы и не думали в категориях системы.

Я никогда не гонялся за литературой «на ночь», мне было все равно, что читать: Солженицына или «Ночь нежна» по-английски. К тому же я никогда не копил книжки — нам с сестрой от отца досталась огромная библиотека. Я любил читать насквозь словари, совсем как Ленин.

Я читаю по-польски, по-испански. Одно время я поработал продавцом в магазине «Дружба» и покупал там книги, которые нельзя было прочесть по-русски. Так я прочел раннюю декадентскую прозу Ярослава Ивашкевича (по-польски). Полного «Мастера и Маргариту» прочитал по-английски, считаю, в блистательном переводе. На супере был нарисован большой черный кот.

Солженицын, книжки про КГБ не производили шокирующего впечатления. Шоком был Пастернак, когда отец читал мне: «Я клавишей стаю кормил с руки...» Или книга Аркадия Белинкова об Олеше.

Самое сильное театральное впечатление — спектакли Славы Спесивцева. Я вообще не театральный человек, мне гораздо интереснее читать о театре. Я помню, приехал куда-то в Люберцы, примерно на двадцать третье представление «Ромео и Джульетты». И ох...ел. Для меня это было мировоззренческим шоком.

И мы со Славкой стали друзьями. И как только я находил человек пять-шесть — я вел их к Спесивцеву. Однажды нас было так много, что пришлось останавливать какой-то санитарный рафик, чтобы доехать. Я пересмотрел у него все.

Я знал, что с моей ссылкой меня никогда не выпустят за границу, но мне и не нужно было: в голове существовал виртуальный Запад, воссозданный отчасти по книгам, отчасти по западным фильмам, которые я иногда смотрел, хотя никогда не был киноманом. Журналы попадались иногда: «Америка», «USA Today». Все, что хотелось прочесть или посмотреть, было достижимо. Нужно было только руку протянуть.

Однажды мы с какими-то балбесами решили перейти русско-финскую границу в районе Выборга. Доехали до Ленинграда, начали шарить по Невскому и пить водку. И потом настроения куда-то ехать, в какой-то Выборг, уже не было...

ВРАЧ-ФОНИАТОР

Оленчик Наталья Владимировна, 1947 года рождения. С 1970 г. работала в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных.

С пятого класса я училась в Москве, и директор школы проводила уроки литературы в Третьяковской галерее. Каждую неделю мы ходили в Третьяковку и потом должны были писать свои впечатления от увиденного. Это продолжалось года полтора-два. Мне тогда запомнились иконы, передвижники — но восприятие было фотографическое, без анализа.

Даже после, бродя по выставкам, я постоянно для себя делала записи в блокноте. Так, когда смотрела импрессионистов¹³, отмечала: «Тепло», «Здорово» или — «Не понимаю»...

Я пересмотрела почти все балеты в Большом. Любовь к балету у меня навсегда, со второго класса, когда на сцене Дома офицеров в Ростове я увидела «Спящую красавицу». Это было потрясение. Меня ничто не могло отвлечь, я замерла вся... Потом даже пошла в кружок хореографии, хотя была совсем не худенькая... Помню, как изумилась, впервые увидев балетный станок: я-то думала, что это какое-то грандиозное сооружение, а он оказался простой палкой...

В школе мы ежемесячно ходили в ТЮЗ. Мама говорила: «Я устала платить за твой театр». Конечно, мы ходили организованно, от школы. Можно было и не ходить, наверное... Но меня тянуло.

ЗАПИСКИ ВРАЧА

Фониатор лечит голосовой аппарат. Человек поет, говорит, самовыражается голосом. По голосу, интонации можно определить наличие патологии. И я всегда говорила студентам: вас воспринимают через голос. Никому не видна ваша мимика, вы можете быть статичны — все итальянские певицы стоят, они огромны — но вы чувствуете их легкость. Они голосом дают образ...

Однажды Ольга Бузина вышла на сцену в черной юбке и синей водолазке — она не успела переодеться, но после исполнения двух-трех вещей возникло ощущение, что она стоит в богатейшем платье... Со мной рядом сидела студентка, а студенты — народ сложный, им сразу надо охать, они-то великие, а остальные — нет... И эта студентка кричала: смотри, какая она красивая!

А один раз, слушая Ольгу Бузину, я сама перевела на русский язык арию Тоски, хотя никогда не знала итальянского, — настолько она могла подать все голосом.

Поэтому мне всегда сложно воспринимать драматические спектакли — я очень отвлекаюсь на голосовую патологию. Когда я смотрела спектакль с Теняковой и Юрским, то ничего не могла понять: мне казалось, что она вот-вот выплюнет голосовые связки на сцену. Хотелось сказать ей: «Ну полечись, а потом говори».

Так и с Высоцким — я могла его воспринимать, только когда он говорил спокойно. Я ничего не слышала за надрывом. И песни его я могла воспринимать только в чужом исполнении. Но слова — да, очень нравились. Он был запрещен, и мы все им восхищались. Его фразой: «А на кладбище все спокойненько», — часто отвечали друг другу на вопрос: «Как дела?».

Через пять лет после его смерти меня пригласили на вечер его памяти в один дом. Его друзья из театра читали стихи, рассказывали о его жизни... И когда я услышала эти стихи в нормальном звучании, мне вдруг открылась такая глубина...

Я очень ведомый человек. Меня окружали люди, которые сильно увлекались искусством, и они всегда брали меня с собой для компании. А я с удовольствием всюду ходила. Мне было интересно.

В семидесятые годы студенты ходили по Гнесинке с авоськами, в которых лежали ноты. Дело в том, что в любой момент, даже в течение семестра, их могли пригласить на так называемые «шефские» концерты: хоть в ЖЭК, хоть в Дом культуры какой-нибудь, или в сельский клуб... Часто в качестве гонорара был простой чай с пирожными. Но такие концерты бывали очень полезны — студенты на публике обкатывали репертуар. Помню, одной аспирантке было трудно брать некоторые ноты, и педагог велел ей не ходить ни на лекции, ни на занятия в течение месяца, но не отказываться ни от одного «шефского» концерта. И эта девочка за месяц отработала около сорока концертов. И когда потом пришла на экзамен, то, похоже, забыла, с какими именно нотами у нее возникали трудности: так был «обкатан» репертуар...

Я помню, как мы в середине шестидесятых ходили в Бахрушинский музей на лекции. Зал, где читали эти лекции, был небольшим, и народ всегда набивался битком.

Нам читали историю отечественного театра, а впереди сидели бабушки, божьи одуванчики. Лектор читал три часа подряд без перерыва, и бабушки начинали раздавать друг другу валидол, потому что эти три часа невозможно было выдержать, так много информации на них обрушивалось: документальные кадры, записи, разговоры. Бабушки очень уставали. Я навсегда запомнила этих бабулек с ридикюльчиками и валидолом. Они видели все эти «исторические» спектакли «живьем», помнили актеров, и после лекции шли и обсуждали, что сказал лектор, и как это было на самом деле, как они это помнят. А мы шли за ними сзади и прислушивались, фразы ловили...

На эти лекции мы ходили с моей подругой, дочерью поэта Корзинкина. Мы учились вместе. А у нее в роду был купец Корзинкин, который был знаком с Шаляпиным... Жили они в коммуналке в Хлебном переулке, ее мама была филологом. И я часто бывала у них в доме, книги брала, слушала разговоры...

Я делала уколы одному человеку. Он работал в типографии — до революции был там уборщиком, а после дорос и до директора. Типография печатала академические книги. Потом он сидел, конечно. Он вспоминал, как в 1937 году в камере люди поддерживали друг друга, вспоминая, чем отличались разные издания одного произведения...

Этот человек мне много интересного рассказал. Например, что самая лучшая бумага — из ветоши... И однажды показал переписку Виардо с Тургеневым. Мне стало так интересно, что я перечитала всего Тургенева — сама.

Еще он сказал мне, что французы писали в основном для денег: Бальзак, Дюма... А я была очень восприимчива к тем людям, которые через многое прошли, я ему очень верила... И я спросила, а кто — не ради денег? Он ответил: Стендаль. И я выучивала наизусть куски Стендаля о скрипке, о квартете... Память тренировала. И долго помнила еще потом. Мне было очень интересно.

Но все равно читала я, как мне казалось, очень мало. Любила стихи, романы и воспоминания: Блок, Тургенев... Солженицына я читала только «Один день Ивана Денисовича», а «ГУЛАГ» — нет.

Мой папа читал все. Его тетка была фрейлиной. Сам он происходил из княжеского кабардинского рода, его отец женился на русской. Он пообещал, что расскажет о своей жизни на смертном одре... Но в тот час меня не было рядом. Наверное, он что-то все-таки рассказал своей пятой жене, на которой женился в 63 года.

Я иногда называла папу «недобитым буржуем» и мало с ним беседовала, о чем очень жалею сейчас. Он мне говорил: «Наташка, я вспоминаю свои шпоры с малиновым звоном». Я даже не расспрашивала, как он ушел от тюрьмы...

Мы свято верили в Ленина, в партию. Однажды ко мне на прием пришел финн, стал жаловаться, что у нас вода плохая и что колбасы нет... А я ему совершенно искренне возразила: «Ленин сказал, что надо сто лет, чтобы сознание перековалось!» Я в это верила.

Когда мы готовились к экзаменам по философии, то сами искали «внепрограммные» работы Ленина, и знали их содержание «от и до». Я, например, часто отвечала на экзаменах его «Письмо Дзержинскому» — там объем поменьше.

Мне казалось, что другой жизни и быть не может, и в ответ на любую критику я отвечала: «А в Америке негров линчуют!».

Я была из подвальной коммуналки в Третьем Монетчиковском переулке. В доме не было разговоров на эту тему: папа все держал в себе, мама работала медсестрой и ничем таким совсем не увлекалась. Если между ними и происходили какие-то разговоры, то меня никак не привлекали.

Мы очень активно участвовали в субботниках, ходили на выборы. Я, пионерка, салют держала около избирательной урны, и мне казалось, что это серьезно и почетно.

Однажды на каких-то выборах мы встали в шесть утра, и к двум, голодные и усталые, пришли в райком. И нам дали вина и хлеба с салом. И я впервые увидела, что секретарь комсомольской организации района тоже «по кривой» выходит из комнаты, где они выпивали, и пьяным голосом спрашивает у меня: «Все проголосовали?» И я таким же голосом: «Все, Галина Алексан-на!» И, довольные, разошлись. Даже в голову не пришло, что же это такое, к чему может привести такое пьянство в райкоме. Я только много говорила по дороге обратно, чтобы прошел хмель, и мама ничего не заметила.

Нас вели, и мы не вникали. Я была совершенно уверена, что могли быть враги народа: в квартире это никогда не обсуждалось, и я не задумывалась. Я не знала, кто такой «инвалид пятой группы»¹⁴ — и на меня смотрели, как на ненормальную. Я была патриотка.

Я гордилась нашей дружбой с Кастро, гордилась, когда мы выиграли войну во Вьетнаме, когда предотвратили третью мировую войну. Но когда войска ввели в Афганистан, то даже мне показалось, что в этом есть что-то неправильное. Было ужасно, что мы посылаем туда войска, но я все-таки думала, что это вынужденная политическая мера.

Я помню, как мы стояли часов пять, чтобы попасть на выставку Чюрлениса. И когда увидела его картины, сразу захотелось послушать его музыку. Не могу сказать, что я потом изучала творчество Чюрлениса, но у меня есть знакомый, кажется, знает про него все. Он даже ездил к сестре Чюрлениса.

Я и сейчас перед тем, как пойти в Консерваторию, сначала звоню этому своему другу, и он мне рассказывает и про композитора, и про симфонию. Мне интересно.

Я смотрела «Гамлета» в Маяковке¹⁵ с Евгением Самойловым. И помню, как в «Современнике» шел потрясающий спектакль. Там мастер по дереву никак не мог найти, как изобразить ангела. И когда в финале девушку убивают, она повисает на воротах — он находит этого ангела... Очень мощное впечатление было.

И «Двенадцатую ночь» с Райкиным¹⁶ помню — очень смешная была развлекуха...

Тогда все воспринималось в радость: сходили куда-то, посмотрели, развлеклись. Мы хвалились, что достали книгу, попали на спектакль. Конечно, мы могли радоваться и какой-то тряпке, но если ее не достали, а сшили — тоже было замечательно.

Азарт был в том, чтобы увидеть, попасть, посмотреть.

Моя деканша с возмущением рассказывала о собственном муже, который не захотел бежать вечером на какой-то концерт: «Приехали зарубежные артисты, ему достали контрамарку, а он — дома сидит!..»

Я помню наши студенческие разговоры: она получила тройку, и теперь у нее не будет стипендии... А зачем ей стипендия — она и так хорошо одевается... А у нее, может, одна юбка и две-три кофты, но считалось, что это хорошо. Если кто-то доставал сапоги — то это было здорово, но ему не завидовали.

Я помню, что мне были нужны сапоги, но вдруг появилась возможность купить Юза по гомеопатии¹⁷, за которым я долго гонялась. Книга стоила 130 рублей. И дилемма — либо эта книжка, либо сапоги — решалась только в пользу книжки.

Не было комплекса неполноценности из-за одежды — мы все были, в общем, одинаково одеты. Среди моих знакомых не было людей, которые были готовы жизнь положить на то, чтобы достать мебель. Наличие хрусталя в шкафу не поднимало человека в наших глазах.

Аминов Марк Яковлевич, 1935 года рождения. В 1970-е годы — военнослужащий.

Аминова Полина Семеновна, 1935 года рождения. В 1970—1980-е годы работала в службе санэпиднадзора.

М.Я. В те годы мы намного чаще бывали и в театрах, и в кино, и на концертах. Мы жили рядом с театром Вахтангова... Было трудно доставать билеты, но мы все равно ухитрялись.

П.С. Я на работе была культмассовым сектором.

М.Я. Да, и кроме того, мама моего школьного товарища работала в Центральных театральных кассах, они находились в Старопанском переулке, около метро Дзержинская (теперь Лубянка). И это было счастье.

П.С. Она оставляла билеты для нас, самые лучшие места.

М.Я. Мы ходили в Вахтанговский театр — особенно помним спектакль «Ричард III» с Ульяновым¹⁸, в театр Сатиры, в театр Моссовета — там были Раневская, Плятт, было на кого посмотреть...

П.С. Но все равно не так часто ходили в театры, как хотелось бы. Двое детей, я работала на полторы ставки, муж все время в командировках... А мы никогда никуда не ходим друг без друга, даже отдыхать всегда вместе ездили... Жизнь была трудной, все приходилось не покупать, а доставать. И продукты, и книги.

М.Я. Однажды в ЖЭКе дали талон на ковер, и мы поехали с сыном куда-то к черту на рога, и потом вдвоем тащили этот ковер, свернутый, на плечах...

П.С. И макулатуру сдавали, чтобы книги хорошие получить. Если узнавали, что утром будут давать талоны на книги за макулатуру, то ночью ходили, отмечались в очереди.

М.Я. У нас была огромная библиотека. В основном, классика, конечно. Но было даже собрание сочинений Ленина. А самиздат... Единственное, что мы прочитали в самиздате, был Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ». В это время Солженицын уже был выслан.

Его высылка не казалась особенным событием. Тогда многих высылали. Ростропович уехал, выслали Щаранского, поменяли на Луиса Корва-

лана Буковского... Все понимали, что это борьба за власть. А говорить, что так шла борьба за чистоту наших мыслей... Вряд ли. Мысли-то у каждого свои... Я в силу своей профессии знал о многих вещах, знал о расстреле в Новочеркасске, знал, что люди сидели в мордовских лагерях... Но мне казалось, что эту стену пробить невозможно и изменить жизнь в стране нельзя, будь то времена Брежнева, Хрущева или Сталина. У меня даже предчувствия не было, что все это может рухнуть когда-нибудь.

Мы не были диссидентствующей семьей. Мы были нормальной советской семьей, я — член партии, мои дети — комсомольцы. И я не собирался сидеть в тюрьме и портить жизнь своим сыновьям. Хотя, конечно, я понимал, что наша жизнь устроена ненормально, как идеологически, так и экономически, что так нельзя, когда все доступно лишь руководству, небожителям... Мы знали абсолютно достоверно, из своих источников, как жила советская элита. И я знал, что ни мне, ни моим детям в эти высшие сферы никогда не попасть, категорически. В силу разных причин.

Но о политике в компаниях мы говорили мало.

П.С. У нас редко собирались компании — все друзья, с которыми мы могли бы откровенно говорить, остались в Одессе. Родственники приезжали к нам редко. К тому же я много работала, и не было ни сил, ни времени готовить застолье...

М.Я. Все эти разговоры — лишь сотрясение воздуха, которое ни к чему не ведет. И когда я слышу, что все обсуждалось на кухнях... Нет, у нас этого не было.

П.С. Мы никогда не жили в коммуналках...

М.Я. К тому же мы остерегались — у нас росли дети, нужно было крепко подумать, прежде чем что-то говорить. В 1978 году Славик только поступил в университет, а Вадик был в первом классе... Мы боялись за них. Хотя у нас никто из родственников не сидел — Бог миловал, — но мы помним мамины рассказы о тех временах...

П.С. Мы были нормальной советской семьей, любили свою работу, детей, были довольны своим окружением. Ходили в театры, в кино. Старались попадать на кинофестивали. Фильмы Сергея Бондарчука очень нравились. И песни Высоцкого.

М.Я. Мы ходили на его концерты, и у нас были кассеты с его песнями. Славик доставал. Хотя в театре на Таганке мы не были. Не сложилось.

Адамишин Анатолий Леонидович, 1934 г. р. С 1960 по 1966 г. был сотрудником посольства СССР в Италии. Затем работал в аппарате МИД. 1971—1973 гг. — сотрудник Управления по планированию внешнеполитических мероприятий МИД. 1973—1978 гг. — начальник Управления по общим международным проблемам МИД. 1978—1986 гг. — заведующий первым европейским отделом, член коллегии МИД.

ФУТБОЛ

Проблем культурного дефицита у нас точно не было. Главный азарт нашей жизни был не в области культуры: мы играли в футбол. Играли друг с другом, иногда — с «приходящими товарищами», и тогда эти матчи назывались «МИД против шелупони» (в шутку, конечно). Играли на первенство МИДа, а в МИДе была очень сильная команда дипкурьеров, они почти все были бывшие футболисты: Георгий Рябов, Владимир Маслаченко...

Матчи проходили на уютном ведомственном стадионе на Университетском проспекте, по субботам, круглый год, в любую погоду. Это был ритуал. Благо, во времена застоя работали не так, как в перестройку, и субботы были свободные. Ни одна жена не могла претендовать на это святое время: игра, потом — выпить... Пили или прямо на месте, или шли на Мосфильмовскую, в только что построенную гостиницу Министерства обороны. Правда, туда иногда не пускали: все же другое ведомство...

У нас была традиция: играть матч 1 января. Как бы ты не нарушал режим накануне, ты выходил 1 января, независимо от погоды. Начиналось, как мне кажется, часа в два... Помню мой личный рекорд: минус 23, а мы играем. И тогда же дали друг другу «полуслово», что сыграем 1 января 2000 года. Тогда легко было брать на себя такие обещания: никто не думал, что доживет до этого времени.

И 1 января 2000 года мы сыграли! Нас было человек пять-шесть, не больше, но сыграли с теми, кто оказался на стадионе...

Помню, когда я был послом в Риме, — а у посольства там хорошая вилла, и отличное поле, не чета тем, на которых мы играли, когда были

мальчишками, — я проезжаю мимо поля и вижу: молодежь бегают с мячом. Меня зависть жуткая взяла, я говорю: «Ну что, дайте хоть пенальти пробить!» Поставил мяч. Вратарь ко мне подходит и тихо спрашивает: «Анатолий Леонидович, мне брать мяч?» А я ему — громко: «Бери, если сможешь!» И я ударил так, что попал. Рисковал, конечно, престиж мог пострадать...

КНИЖНЫЙ СПОРТ

Тогда было большим спортом доставать и прочитывать некоторые книги. Я помню, как мне позвонил Юра Визбор, мой товарищ, и сказал: «У меня на сутки есть “Остров Крым”»¹⁹. Я нагло вызвал машину из МИ-Довского гаража — тогда у меня уже была такая возможность — и сгонял в Переделкино (Юра там снимал дачу). Взял книгу, начал читать уже в машине — и потом таким же образом ему вернул. Запретные плоды были очень сладкие.

Публицистическая, экономическая и политическая закрытая литература попадалась мне, но не представляла большого интереса. Я помню три «закрытых» книги, которые произвели на меня сильное впечатление: «Лолита», «Мастер и Маргарита» и «Остров Крым».

Но бывало и так, как Куравлев говорил в каком-то фильме: «Давай на Диккенса подпишемся!». И подписывались. И потом стояли эти диккенсы, никому не нужные...

В театры ходили, на Таганку, в «Современник», в Вахтанговский... Я видел Гриценко: он был колоссальный артист, одними жестами, междометиями умел показать такую глубину... Наши актеры, режиссеры ухитрялись в каждый спектакль какой-то перчик втиснуть. А мы ловили все эти подтексты с удовольствием.

Конечно, я был на так называемом «высоко-среднем» уровне, но все равно, даже нам многое было недоступно. Я попадал, например, пару раз на закрытые просмотры в Комитете кинематографии. Но это было по благу: у меня в отделе работал такой Саша Сизов, а его отец был директором Мосфильма. И на меня сильное впечатление произвели «Апока-

липсис сегодня» и «Охотник на оленей»²⁰. Я их видел, когда они только вышли.

И у меня осталось ощущение, что классическая музыка была постоянным фоном жизни. Мы регулярно ходили в Консерваторию — были абонементы. Кроме того, Большой театр, Мариинка приезжала... Каждый раз был праздник.

ВИДЕТЬ И ЗНАТЬ

Мы много ездили по стране. Я был лектором ЦК по международному положению, и меня направляли в разные области, чтобы я нес большевистское слово в массы. А я выбирал такие районы, которые иначе совершенно не посмотрел бы. Никто не хотел ехать в Пензу, а я ехал, потому что там были Тарханы²¹. Когда я поехал в Туву, люди смеялись. А оказалось, что это интереснейшее экзотическое место. Мурманск, Воркута...

И все «дворянские гнезда» мы объездили. Русский человек должен видеть это и знать. Побывать в Спасском-Лутовинове, в Ясной поляне²²...

МИНИМИЗАЦИЯ УЩЕРБА

Когда высылали Солженицына, я работал в МИДе. Естественно, я не мог повлиять ни на что, но высылка мне казалась тогда меньшим злом — ведь могли и посадить. Так же, как и с Сахаровым: то ли его выслать в Горький, то ли упрятать... Ведь была еще жуткая практика психушек.

Я довольно быстро разобрался, что многие наши внешнеполитические шаги делаются для того, чтобы попытаться провести какие-то перемены внутри. Шла постоянная, но скрытая от глаз борьба между, условно говоря, ястребами и голубями. Например, семидесятые годы — период подготовки Общеευропейского совещания²³. Я этим занимался плотно в течение длительного времени и видел, что борьба шла не столько между нашей делегацией в Женеве и западной делегацией, сколько между нашей делегацией в Женеве и Центром. Или между теми, кто хотел либерализовать нашу жизнь здесь: через решения Общеευропейского совещания, через права человека, через гуманитарное сотрудничество. Тог-

да как раз по решению ОЕС перестали глушить западные радиостанции. Шла постоянная подспудная борьба сторонников жестких мер по отношению к тем же Сахарову, Солженицыну — и чиновников, которые хотели как-то это сгладить.

Если говорить, в чем состояла моя функция, — она была в «минимизации ущерба». Это единственное, что действительно от тебя зависело. Понимаю, что сейчас это звучит довольно странно: «выгнать Солженицына было хорошо». Но, конечно, это было не самое страшное.

Героем № 1 для меня был и остается Высоцкий: он спас честь нашего поколения. Он выражал наш протест, не боялся ничего, и сделал это исключительно талантливо и с любовью, с состраданием, а не со злорадством. Мне кажется, это наиболее приемлемая позиция. Я считаю, что Высоцкий — наиболее крупная фигура того времени.

Я никогда не был диссидентом. Это была моя власть, мой строй. Да, плохой — и я это, безусловно, понимал, и старался сознательными действиями в области внешней политики минимизировать ущерб. Например, стоял вопрос: считать права человека внутренним делом страны, или это имеет право на международное обсуждение, осуждение... Но при всей нелюбви к тем вещам, которые происходили, у меня не было ощущения, что я должен с этим бороться извне.

РАЗНОЧИНЕЦ

Воспитывали меня дед и бабушка. Дед окончил Петербургский университет и по воле души пошел преподавать русскую литературу в украинскую школу. Всю свою жизнь он провел в украинских сельских школах. Бабушка окончила Смольный институт благородных девиц и последовала за дедом в деревню. И вот там, со знанием языков, с большой общей культурой, доила коров. И моя позиция была не революционера, который бросает бомбы, а разночинец, который «идет в народ»: просвещать, работать на благо народа...

К тому же значительную роль сыграло «позитивное оболванивание». Я долгие годы верил, что мне повезло родиться в самой лучшей стране, при самом лучшем строе, при самых лучших людях, какие только возможны на Земле. И дорога у меня была совершенно ясная: набраться ума и служить народу.

У меня отец погиб в 1941 году, мать была скромная чиновница, никто не мог меня тащить, никакая мохнатая лапа. Я школу закончил с золотой медалью, в Университет поступил в 1952 году без всяких звонков — тогда и системы такой не было. Когда моя дочь поступала спустя 25 лет, — все изменилось совершенно. Уже были абсолютно другие правила игры.

У меня было повышенное чувство собственного достоинства: никто меня не тащил в этой жизни. Университет я окончил с красным дипломом, не получив ни одной четверки.

И в МИД я попал не по знакомству и не по блату: просто у них не было в том году человека с итальянским языком, а я язык хорошо знал: со мной учился итальянец...

РАБОТА

До Чехословакии, до 1968 года, все же был довольно прогрессивный период: и двусторонние отношения хорошо развивали с западными странами, и общеевропейское совещание, и обсуждались вопросы ограничения вооружений...

Я был переводчик № 1, и мое приближение к министру было связано с этим. Многих молодых людей узнают сперва как переводчиков. Потом Громыко²⁴ привлек меня к спичрайтерству, и я был одним из наиболее грамотных спичрайтеров. Мы пытались изобразить нашу внешнюю политику лучше, чем она есть, надеясь, что от этого она может измениться... Конечно, это были иллюзии.

Чем дальше, тем сильнее ухудшалась ситуация. Однако поддерживало ощущение, что ты-то — работаешь! Не сидишь сложа руки, а тащишь этот воз и делаешь свое дело честно. И не просто честно, но еще и хорошо.

Для меня главное удовлетворение (и неудовлетворение) давала работа. В Лондоне я спросил Исайю Берлина²⁵: «В чем смысл жизни?», и он мне ответил: «Смысл жизни в том, чтобы жить». У меня не было поисков философского смысла жизни, я думал, как жить. И это сводилось к простым и банальным вещам: делать свое дело как следует, не подличать. В своих собственных глазах за сорок лет работы я себя не

запятнал: у меня нет чувства, которое бы жгло меня, что я наушничал, подселел кого-то...

Я считал, что МИД нуждается во мне больше, чем я в МИДе. У меня было такое высокомерие. Но к концу все стало на свои места (хохочет).

Я после университета был распределен в НИИ, но вскоре мне позволили в коммуналку в Даевом переулке: не зайдете в отдел кадров? И предложили работу в МИДе. Я согласился, и шесть лет потом отгремел в командировке в Италии: посол никак меня не отпускал, и я был его помощником. Когда вернулся — взяли на работу в первый европейский отдел, но я скоро заявил: уйду в аспирантуру. Сдал экзамены в ИМЭМО на все пятерки, — и меня не приняли. Я потом узнал, что механизм был очень простой: мой заводделом мог спокойно снять вертушку и сказать: этого — не брать...

Но я не чувствовал необходимости дрожать за свое место. Я иногда так позволял себе разговаривать с Громыко... Сейчас я понимаю: если бы со мной кто-нибудь попробовал так разговаривать, когда я был замминистра, это был бы конец света! У меня не было ощущения, что зависишь от этой жизни настолько, что не можешь выскочить из нее... Однажды мой товарищ сказал мне: «Да ты настоящей конкуренции не знал, всегда стороной шел!»

Прелести чиновничьей жизни мне довелось узнать в самом конце, когда МИД меня, как говорится, выбросил...

Хотя дерьма хватало, конечно. Громыко — это, конечно, отдельный разговор: он был законченный сукин сын в отношениях с подчиненными.

ГРОМЫКО

Громыко меня выделял. На 90% его окружение состояло из тех, кто говорил то, что нужно было сказать. А я — что мне терять-то? — говорил то, что думаю. И Громыко, будучи человеком опытным, понимал, что хотя бы одного такого человека иметь нужно. Но пускать меня на высокие позиции он не хотел.

Потом, когда Громыко уже ушел из МИДа и стал председателем Президиума Верховного совета, он извинялся и говорил мне: «Ну, вы же знае-

те, как это было... Суслов не пропускал...» Хотя совершенно было ясно, что это его собственное решение.

Иногда Громыко устраивал такие шоу: сидит за своим огромным столом, а за маленьким приставленным столиком — человек пять-семь. И он спрашивает: вот, например, как на эту вещь посмотреть? И начинает отвечать самый старший по званию. А я — самый младший, сижу с краю, и у меня есть время, чтобы понаблюдать за публикой. Во-первых, я последний отвечающий, во-вторых, точно знаю, что скажу, и, в-третьих, я-то вижу, что это — просто шоу, испытание, а не действительный «мозговой штурм». Вы не представляете, какое это зрелище, когда у человека в голове идет жуткая работа: как сказать то, что хочет Громыко, причем это не должно выглядеть прямым попаданием...

У Громыко была фраза, за которой следовало увольнение: «Странный вы человек». Я тоже пару раз достаивался такой фразы.

ТЯГА К ПРЕКРАСНОМУ

Я 25 лет сидел в МИДе безвыездно, с 1965 по 1990-й год. Были командировки, конечно, но короткие, и тогда удавалось побывать и в Ла Скала, и посмотреть Музей Гугенхайма, и Прадо, и Лувр, и все эти «Залы для игры в мяч»...

Помню, что от картины Тициана «Любовь земная и небесная» в Галерее Боргезе я получил буквально физическое удовольствие. Правда, я был довольно поддатый, но глядя на эту «Любовь», я впервые понял, как люди могут получать физическое удовольствие от картин.

Мы несколько лет подряд приезжали в Нью-Йорк на сессии, когда писали речи Громыко. И когда выпадали суббота-воскресенье, то старались съездить то в Филадельфию, то в Бостон... В том числе и для того, чтобы побывать в тамошних музеях.

Я был с Громыко в Англии. Шел 1976 или 1978 год — не помню. В это время там в русском магазине продавали сборник Цветаевой. И я попросил, чтобы посольский шофер отвез меня за этой книжкой. А водитель

знал все барахолки в Лондоне, все места, где можно было дешево отовариться, но не знал этого книжного магазина. В итоге мы не только не нашли магазин, но и опоздали на самолет Громыко.

Когда мы уже подъезжали к Хитроу — я увидел, как красноречивая машина поднялась в воздух. Консул подъехал и говорит: «Анатолий Леонидович, Вам спешить больше не надо». И я сказал себе: единственное, что имеет теперь значение — это не умереть. Вы представляете — министр, у которого отстают чиновники?! Они должны были мои вещи выбросить из самолета, но мой приятель уговорил, чтобы этого не делали. Мы запросили Москву, и мне разрешили купить билет на рейсовый самолет. Вечерний рейс был через несколько часов.

В самолете я спросил у стюардессы: «Как вас зовут?» — «Наташа» — «Имейте в виду, Наташа, я буду пить». А моим соседом оказался Алексей Сурков²⁶, который тогда участвовал в каких-то советско-английских делах и тоже был большой любитель выпить. И мы с ним крепко тогда надрались. И я Суркову на какой-то рюмке рассказал о своем несчастье. Он выслушал спокойно, не среагировал никак. Мы продолжали пить. И в конце, когда уже подлетали, он наклонился ко мне и спросил: «Ты, в самом деле, из-за Цветаевой отстал?» — «Ну, чего мне с вами-то лукавить?» — «Я тебе пришлю эту книжку!» И прислал.

А я сидел с ним, пил и лихорадочно вспоминал хоть одно стихотворение Суркова. А на память приходили только стихи Тихонова, про Зимовье... С самолета я приехал к маме, а она говорит: «Чудак! “Землянка”!» — А «Землянка»-то мне в голову и не пришла...

Громыко меня простил. Хотя его помощник потом долго приговаривал: «А, Адамишин! Это тот, который в Лондоне отстал!»

ДРУЗЬЯ

Однако наступили очень тяжелые времена. И круг друзей уменьшался: кто уезжал, кто спивался. Жизнь была мрачной, наше мужское братство сжималось, как шагреновая кожа. Но микромир, который мы создали: семья, друзья, спорт, байдэрки — удерживал на плаву. Ребята вокруг были талантливые: Юра Визбор, Веня Смехов, Юля Хрущева... Она была на-

шим Вергилием. Дочь погибшего сына Хрущева, Леонида, Юля была удочерена дедом. Юля держала салон, и много людей тогда «прошли» через него: Никитины приезжали, Юра Визбор, Юнна Мориц, Щедрин, Плисецкая, Софья Губайдулина, оба Чайковских, Борис и Александр, Башмет, Петров... Дмитрий Сухарев, который писал всякие песенки, Веня Смехов со своей молодой женой, с Любимовым мы довольно часто тогда встречались. И я потом «отдал ему долг», когда он вернулся и жил у Коли Губенко. Я ездил к нему. Мой начальник МИДовский испугался, сам не поехал, а послал меня. Боялись: а вдруг что изменится? И обвинят, что ездил...

Такой круг друзей позволял сохранять определенное душевное равновесие даже в тяжелое время... Думаю, что пили немало. Напивались — крайне редко.

Но тогда мы жили с надеждой, что все изменится к лучшему: ну не может так долго продолжаться! А теперь, когда увидели, во что выливаются перемены, фраза «не может так продолжаться» потеряла свой смысл. Еще как может! И еще неизвестно, сколько будет продолжаться...

Я думаю, что сейчас требуется больше душевных сил, чтобы выдерживать то, что происходит, чем тогда. Тогда было ощущение, что ситуация не может не поменяться. Юра Визбор пел: «А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче...»

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ

В 1970—1980-е руководил Управлением, разрабатывающим системы космических спутников-разведчиков.

Мы работали сутками. Если вдруг случалась авария, то за тобой тут же, даже ночью, приезжала машина: утром уже нужно было докладывать, что произошло. Вот и сидишь всю ночь с бригадой, разбираешься.

У нас было ощущение реального прогресса: ведь мы придумывали и испытывали уникальные приборы, о которых еще никто в мире не знал.

Мы занимались приоритетным направлением для страны — и у нас были настоящие, а не липовые достижения. В нашей области работали лучшие умы... Мы были захвачены космосом.

Раз в неделю я общался с комитетчиком, рассказывал все, что происходило в управлении. Но это воспринималось нормально: мы занимались космической разведкой, поэтому контроль со стороны КГБ был естествен. Так, когда я однажды заметил одного нашего сотрудника, который покупал магнитофон у какого-то иностранца, то тут же рассказал об этом. Наверное, его после проверяли.

Мы (разумеется, без семей) подолгу жили в секретном городе в районе Красноярска: это был город, вырубленный в скале. В таких секретных городах, на полигонах всегда было навалом и еды, и хороших книг. Ни в чем не было недостатка. Даже иногда артисты приезжали с концертами. А когда выезжаешь из такого города, то видишь вокруг бараки, вышки, колючую проволоку — этот город, как и другие подобные города, строили зеки. Но я не заострял свое внимание на этом. Принимал как данность: зеки так зеки, какая разница? Голова была занята совершенно другими, научно-техническими проблемами...

А что касается диссидентов... Мы об этом не разговаривали. О Солженицыне был... «слушок». И вся эта возня Максимова, Владимова не имела смысла, мне кажется. Это были игры части интеллигенции. А мы занимались реальным делом — и только это имело значение.

К партии я относился без придыхания, лишь как к ступени служебной лестницы. Ленин, лозунги всякие принимал как данность, без особенных восторгов. И к грамотам и поощрениям относился нормально: дают — значит, все в порядке, работа идет.

Когда жили в Москве, по рабочим дням ходили обедать в «Прагу», мы вообще часто ходили в рестораны. Даты всякие отмечали в ресторане Дома архитекторов. Мы хорошо зарабатывали, и после такого похода ты вообще не замечал, что оставил эти деньги.

А всякие книги, театры, кино заметного места в жизни не занимали. Только работа имела смысл.

Хейфец Владимир Наумович, 1941 года рождения. В 1970—1980-е годах работал в НПО им. Лавочкина.

Ни за какие события я не испытывал чувства национальной гордости. Когда хорошо шли дела на работе, что-то получалось — мы работали с космосом, — становилось интересно. Но это все были игрушки, конечно. Еще радовался, что у нас такая великая литература: Пушкин, Мандельштам, Пастернак... Но гордости не было.

ДОМАШНИЙ САМИЗДАТ

В компаниях и на работе мы обсуждали книги. Я вырезал страницы из литературных журналов и дома их переплетал: у меня до сих пор хранится станок. Я сделал несколько сотен переплетов таких художественных «вырезок»: и для себя, и для других. Когда после перестройки хлынула настоящая большая литература, я стал просматривать, что же у меня переплетено. И самому стало так стыдно... Жиденько так все... Но другого же ничего не было, и тогда казалось, что очень хорошие вещи переплетал... Хотя среди моих переплетов попадаются и очень достойные книги: Быков, Абрамов, Трифонов, иностранцы...

Еще я перепечатывал запрещенные книги. Так, я перепечатал и переплел «Все течет» Гроссмана, а в 1984 году перепечатал с фотокопий Оруэлла.

В 1969 году мы взяли напрокат две печатные машинки и месяца два перепечатывали «В круге первом» Солженицына. Закладывали четыре листа через копиру: три экземпляра получались нормально, а четвертый выходил совсем «слепой». Потом переплетали. И было «щекотно»: мы знали, что все машинки уникальны, и всегда можно установить, на какой машинке отпечатан текст. А в прокате все давали только под паспорт... Но все равно, сидели с друзьями и перепечатывали. И эту книгу давали читать гораздо осторожнее...

Когда мы были студентами, то повадились с одним парнем ходить в Ленинскую библиотеку: там можно было в читальном зале прочесть уникальные вещи: Цвейга, биографии Ницше, Шопенгауэра. А некоторые вещи очень трудно было достать. Например, я долго охотился за «Улиссом» Джойса: знал, что его печатали в «Иностранке» бог знает когда... Я сейчас думаю: и слава богу, что тогда не достал. Незачем. Я его сейчас прочел: ну любопытно. Но не более того...

Мне очень хотелось прочесть Хемингуэя. Я дружил с одним парнишкой, чья семья была довольно близка с Романом Карменом. В 1961 году должен был выйти «По ком звонит колокол», и Кармен пообещал нам, что мы будем иметь по экземпляру... Но грянул хрущевский пленум, и все: книга вышла только через пять-шесть лет в составе четырехтомника. Вот тут было очень горько: уплыла книга, и ничего не поделаешь...

Я не участвовал в книгообмене. Я понял: если ты очень хочешь достать и прочесть какую-то книгу, то она тебя найдет. Причем достаточно быстро. Не надо суетиться.

Все книги, которые стоят у меня дома, прочитаны, некоторые — по несколько раз. А книжных серий у меня дома нет. Я старался покупать только те книги, которые мне были интересны. Хотя иногда я покупал книги просто из жадности, может, мне они были и не особенно нужны...

ДИССИДЕНТЫ

Меня познакомили с Юрием Диковым из «Инициативной группы»²⁷. Я много прочел и узнал благодаря ему. И стало ясно: либо ты идешь на самосожжение, либо как-то пытаешься существовать в этом строе. Мы были выучены, что надо жить по справедливости, что по-другому нехорошо, и я спрашивал его: «Может, организовать какое-то подполье?» Но Юра меня охладил, сказав, что сейчас настолько тотально поставлен сыск, что любые попытки противостояния выдавливаются на корню: процессы шли в Москве и в Питере, и я знал это.

Юра говорил: «Наше дело — просветительство. Будем открывать людям глаза...» Но когда ты знаешь, что кто-то все же выходит на площадь,

и садится, и выбирает этот путь — то очень неуютно себя чувствуешь. И у меня долгое время было дискомфортно на душе: с одной стороны, ощущаешь, что тебя не хватает, чтобы делать, как они, а с другой стороны, очевидно, что их жизнь — это один черный цвет. В ней нет места радости, глупости... Я испытываю глубочайшее уважение к таким людям, как Марченко. Но меня бы не хватило...

В нашей жизни были мелкие радости: дети, книжки, походы. Мы были молодые.

У меня одно время хранились листовки Петра Григоренко и Мустафы Джамилёва²⁸. Я мучился, не знал, как их спрятать, чтобы не нашли... И знал, что все равно найдут, если будут искать...

Было просто понять, свой человек или не свой: существовал крайне небольшой набор признаков. Читает ли «Новый мир», как реагирует на публикации, видел ли фильмы Тарковского. Когда началась перестройка, оказалось, что если нравится один и тот же журнал, то это еще ничего не значит, что люди различаются более глубоко... Это было неожиданно.

ПИСЬМА

Я писал письма ученым, писателям. Кому только не писал! И Василию Быкову, и Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. Не помню, что именно писал, кажется, это были маловнятные ощущения восторга и благодарности и прочие ни к чему не обязывающие слова. Я задавал вопросы, но прекрасно понимал, что моя персона не очень интересна, и что у них есть дела поважнее... Мне никто не отвечал. Дмитрий Сергеевич уже был болен тогда, я сомневаюсь, что у него была возможность ответить. Он был верующий, а я в то время был неопитом, и у меня были вопросы, мне хотелось знать его мнение.

Я даже Гавриилу Попову писал, когда вышли его статьи по поводу системы, даже какие-то соображения высказывал. У меня до сих пор осталось желание вступить в диалог, но я понимаю, что представляю небольшой интерес.

Кажется, писал Андрею Битову. Мне было очень близко многое в его вещах, и хотелось поговорить о том, как жизнь освещается в литературе.

Сейчас у человека гораздо больше возможности занять свободное время, а раньше кино — и то было большим событием. Жизнь была очень бедной по впечатлениям, но мы были молоды, другой жизни не знали, поэтому эта бедность воспринималась нами легко. У меня нет ощущения, что культурные впечатления были смыслом той жизни, просто наша жизнь была такой зарегистрированной, такой узенькой, такой безвариантной, что литература была отдушиной, она была как зеленая дверь в стене. Та любовь к чтению, что была у нас, по большому счету, противоестественна.

Я не могу сказать, что был завзятым театралом: книгами я жил гораздо больше, чем театром. Но без него тоже было нельзя. В театре мы видели кусок другой, живой, жизни, а не тот засушенный суррогат, который нас окружал... Хотя мне даже в голову не приходило стоять по ночам за театральными билетами.

Мы во всем искали социальный подтекст. Если удавалось прочесть что-то между строк, уловить намек, это воспринималось как удача. Был какой-то охотничий азарт.

Билеты на Таганку мы доставали через знакомых артистов. Там работали Аида Чернова и Валера Беляков: они вдвоем делали пантомиму и в «Десяти днях...»²⁹, и в «Добром человеке из Сезуана»³⁰. Валера был школьным товарищем одного из моих приятелей, а с Аидой мы встречались в нескольких компаниях. Молодые были, знакомых — тьма, и всё через кого-то доставали...

Больше, чем театр, меня интересовали вечера поэзии. Я ходил в МАИ: там эти вечера вел Михаил Светлов. Выступали Рождественский, Евтушенко, Вознесенский. Еще Джеймс Паттерсон — тот темнокожий парнишка, который ребенком снимался в «Цирке»³¹.

На выставки ходил: в переулок около Баррикадной³², на фотовыставки. После «Интерпрессфот-66» в Манеже старался ни одной такой не пропускать. А на «бульдозерную» выставку³³ не ходил. Но переживал очень.

Киселева Нина Алексеевна, 1939 года рождения. В 1970—1980-е годы работала в НПО Промтехмонтажспецстрой.

Я была заместителем секретаря парторганизации по идеологии и часто ходила в райком партии на семинары и лекции. И там, в райкоме, лежали такие книги, которые в магазинах не продавались. Помню, уже звонок, надо идти на семинар, а люди с сединами стоят в очереди, чтобы купить какую-нибудь книжку, Евтушенко, например, или сказки Андерсена.

Через райком можно было многое получать. У меня была общественная нагрузка по партийной линии (я вообще была очень ответственная), и поэтому у меня появлялась возможность попадать на хорошие спектакли или подписаться на газету «Неделя». Через райком мы даже журнал «Бурда» получали.

Я очень переживала, когда высылали Сахарова. Конечно, я полностью не могла тогда осмыслить все это, но было очень неприятно, что их с женой выгоняют. И все, что писали об их проживании в Горьком, я собирала. У меня до сих пор эти газетные вырезки хранятся.

СТЕНГАЗЕТА

И на работе у нас был хороший, дружный коллектив. Я лет двадцать руководила редколлекгией — мы выпускали стенгазету, на любом предприятии ведь обязательно должна была быть своя стенгазета. В ней и критика была, и юмор. Заметки на машинке печатали, потом приклеивали их на ватманские листы, картинки из журналов вырезали. И на политические темы писали, и на бытовые, и на производственные. К Женскому дню советы всякие, рецепты. К 23 февраля — воспоминания фронтовиков, или рассказы об армии тех, кто служил. Ко всем праздникам выпускали газеты, ко дню строителя — обязательно. Если кто-то рожал, поздравляли через газету. Иногда конкурс устраивали: приклеивали фотографии детей сотрудников и предлагали угадать, где чей ребенок. Я в то вре-

меня ходила и по другим предприятиям, смотрела их газеты и понимала, что наша гораздо интереснее. Мы даже призовые места в районе занимали.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Я очень любила театр имени Моссовета, Плятта, Сухаревскую, Марецкую. Спектакли «Дальше — тишина»³⁴ и «Милый лжец»³⁵ смотрела по три-четыре раза. Сначала ходила сама, а потом водила подруг, друзей, дочь.

Дома лежал целый чемодан театральных программ, я не выбрасывала их с шестидесятых годов. Большой театр, Малый, МХАТ. Даже на театральные капустники в театры Сатиры и Моссовета мы попадали — так все нравилось.

Билеты я всегда покупала с нагрузкой. Как правило, сначала в кассе отвечали, что билетов нет, но как только я давала понять, что возьму с нагрузкой, то билет появлялся. Постепенно знакомые появились в театральных кассах, к тому же много знакомых в театрах работало. В одном театре уборщица знакомая была, в другом — гардеробщица. На входе я говорила, к кому иду, а потом искала свободное место. Если везло — садилась, а нет — стояла...

Помню, в зале им. Чайковского Юрский читал Пушкина при свечах, и не было свободных мест. Мы сидели прямо на ступеньках, на лестнице, подстелив программки. Мне лет сорок уже было тогда.

И на Таганке я многое видела. Мы же строительная организация, а театру строили новое здание. Мы там работы выполняли. Ну и контакты с театром остались.

Когда умер Высоцкий, мы с мужем были в отпуске, сидели на даче. Но по радио абсолютно ничего не говорили, и мы случайно поймали «Голос Америки», и ночь напролет сидели и все слушали. Было обидно, что он наш актер, они говорят, а наши — нет.

Первый спектакль, который я посмотрела на Таганке, был «Мастер»³⁶. Но я его не совсем поняла — книгу я еще к тому времени не читала. А потом, когда в Средней Азии отдыхала, как ни странно, смогла купить там многие дефицитные книги.

КНИГИ

Я все выписывала тогда. И журналы переплетала, когда болела: прозу отдельно, поэзию отдельно. Потом сверху листочек наклеивала и писала, что у меня в этой подшивке. А у одной нашей сотрудницы сын переплетал книги, и иногда мне на день рождения она дарила мне мои собственные книги, но дорого переплетенные, с золотым тиснением.

И книг я много покупала, и по знакомству, и с переплатой. Толстого полное собрание — за 50 рублей, я считаю, что очень дорого. Есенин — 30 рублей, Гончаров для дочери, ей по программе нужно было — рублей 40 стоил. Сказки народов мира. Ахматову я в Венгрии купила и Пастернака. Было больно, что в нашей стране ты не можешь купить книги, которые хочешь почитать.

И альбомы мы покупали: и Эрмитаж, и Третьяковку, и Исакиевский собор, и Софийский. Помню, с мужем собрались на дачу, но долго не было электрички, и он зашел в Дмитрове в книжный магазин: «Знаешь, я такой счастливый, я купил «Софийский собор»!».

А сейчас домашняя библиотека и не нужна: мы с дочерью ходили на книжный развал в Олимпийский, там все что угодно есть, были бы деньги. Если что вдруг понадобится — иди, покупай. Нет проблем. Все доступно, абсолютно.

Тарковский? Смотрела, безусловно. Очень тяжелые фильмы. Названия не могу вспомнить, но смотрела. Безусловно.

Я помню очень хорошо похороны Аллы Тарасовой. У меня приятельница жила как раз в том переулке, по которому проходила траурная процессия. Я зашла к ней по делу — и это был кошмар, жуткое зрелище. Весь переулок был запружен толпой.

ЧУЖАЯ КУЛЬТУРА

Когда к нам приезжали гастролеры, я больше ходила на эстрадные концерты, например, Джордже Марьянович. Он очень любил Россию — все югославы очень любили Россию.

Помню, как на кинофестиваль к нам приезжали Марина Влади, Софи Лорен. Мы стояли у гостиницы «Москва», смотрели восторженно, как они выходили из автобуса, но желания подойти, взять автограф у меня никогда не было.

И когда выставки европейские привозили в Пушкинский музей — мы обязательно ходили, зимой подолгу мерзли в очередях. Но ночами не стояли. А после музея обязательно в кафе заходили перекусить.

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК

1947 года рождения. С 1969 по 1992 — младший научный сотрудник Института промышленного развития «Информэлектро».

Я очень любила путешествовать. Брала профсоюзные путевки на экскурсии по разным городам Союза, каждый отпуск куда-то отправлялась. Получалось, что я раза три в год куда-то ездила: отпуск разбивала на два, плюс праздники, плюс отгулы за колхоз³⁷...

Майские, например, я любила проводить в Коктебеле. В это время там все цветет, народу нет...

Денег, конечно, было очень мало: для младшего научного сотрудника зарплата 140 рублей — потолок. Но меня кормила мама. Свои деньги я откладывала на отпуск. Или книжки покупала.

А за границей я никогда в жизни не была: сейчас денег нет, а раньше надо было «проходить» партком. А я не могла с ними разговаривать, я их не понимала. Мы как будто на разных языках говорили...

Я даже в комсомол умудрилась не вступить. Не хотела. И в последнем классе я ушла в вечернюю школу.

После школы я поступала на филфак и не добрала один балл. Родители побежали в университет — просить, чтобы меня перевели на вечер-

ний. Там стали смотреть мои документы: «За кого вы просите? Она у вас даже не комсомолка!»

А когда брали документы на поступление, то в эту графу даже не взглянули: настолько привыкли, что все комсомольцы...

У меня никогда не было телевизора, я его не люблю: мне становится плохо, начинают болеть глаза... Но я очень люблю кино. Могу смотреть всякую дрянь, ерунду, и никогда не уйду из кинотеатра, пока фильм не закончится. Даже если он мне совершенно не нравится. Потому что я хочу до конца понять, почему же именно мне все так не нравится...

Бывало, что я уходила в кино с работы, особенно летом: тогда можно было выйти, не одеваясь. И сделать вид, что у тебя такой растянутый обеденный перерыв...

В дневной школе нас обучали профессии: из нас решили сделать фотографов. Правда, фотографировать я так не успела научиться — ушла в вечернюю школу. Но проявлять приходилось. И я знала, что от проявителя ногти становятся коричневыми, поэтому вынимать фотографии нужно пинцетом.

Когда я уже работала в «Информэлектро», то подружилась с одной женщиной. И однажды мы сидели, разговаривали, и вдруг я увидела, что у нее ногти коричневые. И тут же спросила: «Фотографии проявляли?» Она была поражена моей прозорливостью. Оказалось, что ночами она переснимает сам- и тамиздат. А я-то и не думала, что она книги фотографирует...

После этого она часто просила меня покрасить ей ногти. Я стала ее личной маникюршей... А она приносила мне свою продукцию на прочтение: «ГУЛАГ», или перепечатанную «Хронику»³⁸. Как оказалось, она училась вместе с Натальей Горбаневской³⁹, они дружат до сих пор...

Я дико боялась стукачей, даже опасалась знакомиться с мальчиками: мне нужен был только антисоветчик.

Как только на работе появлялся новый человек — все разговоры в отделе временно прекращались. Все замолкали до тех пор, пока не выяснялось, как именно он устроился на работу в «Информэлектро». Если по

знакомству, если «свои» привели, — значит, все в порядке, и разговоры возобновлялись. Обсуждали, кто что прочел, кто что услышал «по голосам», кто где побывал...

Моим любимым автором был Торнтон Уайлдер, мы обсуждали его романы на работе. Вообще о книгах много говорили тогда, делились ими, давали друг другу почитать. У меня, например, дома было старое издание Пруста. Роман даже назывался по-другому: не «В поисках утраченного времени», а «В поисках за утраченным временем». Такой старинный оборот.

Не помню, чтобы я читала литературную критику. Это была скучища. Иногда, правда, просматривала в книгах вступительные статьи: несмотря на цитаты Маркса и Ленина, некоторые тексты можно было читать. Но чаще критика была плохой, и я не покупала книги искусствоведов и литературоведов. Я покупала художественную литературу: филолог по образованию, я и без подсказки критиков знала, какие книги хорошие. Но до сих пор многое стоит нечитанное, и теперь-то уж точно многие книги читать не буду. Уже не хочется.

И обязательно покупала книги на черном рынке, на Кузнецком мосту.

В серии «Библиотека поэта» в 1965 году вышел том Цветаевой, у багы он стоил рублей шестьдесят, и мне это не было по карману. Но я купила переплетенный ксерокс этой книги. Он стоил дешевле.

Я не интересовалась политикой до Чехословакии. А чем было интересоваться? Когда слушала наши «Последние известия» — то ничего не понимала, как будто говорили не по-русски. У дикторов были такие поставленные голоса, что я просто отключалась... Чужое радио я не ловила: меня раздражали глушилки. Не выношу это вытье.

Но у меня была подруга, одноклассница, и она мне рассказала, что наши танки вошли в Чехословакию, и что это значит. Я словно глаза открыла. Эта моя подруга была двоюродной сестрой Паши Литвинова⁴⁰.

Так что, конечно, я знала о диссидентах.

Но я не борец. Я боялась и не хотела, чтобы меня посадили в «психушку» или отправили в лагерь. Но от постоянной ненависти, которая сидела во мне, было очень плохо. Очень тяжело...

КРЕЩЕНИЕ

Я крестилась, когда мне только исполнилось 19 лет. Крестил меня отец Всеволод Шпиллер⁴¹. Батюшка был очень интеллигентный, образованный. На его проповеди в Николо-Кузнецы стекалась вся интеллигентная Москва. Отец Всеволод читал проповеди, вел беседы о страстях.

К нему в храм ходила Юдина⁴². Однажды она пришла в храм со сло-манной рукой и подошла ко мне: «Девочка, застегни мне английскую булавку: я не могу одной рукой» И я застегнула Юдиной булавку...

Я только однажды была на ее концерте, кажется, в Доме ученых. Она выступала в кедах, в черном балахоне.

Сначала я скрывала от мамы, что крестилась: батюшка разрешал мне первое время не поститься. Но однажды мама вошла в мою комнату: «Что читаешь?» Я — хлоп! — резко закрыла книгу. Но название — «Закон Божий» — было написано на корешке. Пришлось все рассказать. У мамы был шок, конечно. Она меня чуть не убила... После мама уже готовила мне отдельно.

Сама мама крестилась через десять лет после меня, уже выйдя на пенсию. Ей крестины ничем не грозили: пенсионерку не могли уволить или понизить в должности. Мама читала все, что давал отец Всеволод: и тамиздатовское Евангелие, которое батюшка подарил мне после крещения, и «Цветочки святого Франциска Ассизского». Давая «Цветочки...», он сказал: «Это раньше на филфаке проходили».

О том, что я крещеная, не могли узнать никакие «официальные лица»: отец Всеволод крестил, что называется, «мимо кассы», и ни в каком журнале эти данные не фиксировались.

Мне приятельница из Польши привезла католический серебряный крестик, и я его носила, не снимая даже на пляже: мол, пусть думают, что это украшение. Одно время кресты были в моде.

К о. Всеволоду ходила одна балерина, она танцевала в Большом театре, в кордебалете. Однажды театр собрался на гастроли в Италию, и эта балерина даже ходила на курсы итальянского, так ей хотелось поехать.

Но в Италию ее не пустили — думаю, из-за того, что она ходила к о. Всеволоду...

Первые пять лет после крещения каждое воскресенье я ходила в церковь. Идешь, вся сжавшись, по сторонам глазами зыркаешь: никто не видит? А когда заходишь — немножко оглядываешься: никто не засек?

Однажды к нам с подружкой во дворе церкви подошел совершенно омерзительный тип, сунул в нос какую-то красненькую книжечку и стал спрашивать, что это мы тут делаем, такие молодые. Подруга что-то резко ответила ему, и он отстал...

На Пасху всегда возникала проблема — как добираться домой после службы? На метро не доедешь: в храме только в час ночи начинают читать Иоанна Златоуста. На такси — деньги нужны. Однажды мы с мамой хотели пойти на Пасху в храм около дома, но дружинники оцепили церковь и не пускали людей. Один из них даже меня схватил, и я его больно укусила за палец.

Уже позже я ходила в храм на Арбат, оттуда шла пешком до улицы Горького, а там уже можно было за рубль доехать до дома на такси: мы жили на Белорусской.

Из Лондона в Москву приезжал о. Антоний Сурожский⁴³. И меня пригласили в одну квартиру, к нему на беседы. В небольшую комнату набилось много народу, все задавали вопросы. Про жизнь, про Евангелие. Он отвечал. А я сидела молча, на скамеечке около дверей, и слушала...

ТЕАТРЫ

На работе надо было нести общественную нагрузку, и я стала распространять театральные билеты. Я приходила к театральной кассирше: сначала в ларек, а однажды она пригласила меня домой. Кассирша давала билеты обязательно с нагрузкой. Причем к какому билету — какая нагрузка, определяла сама кассирша. Иногда, например, это были билеты

на позавчерашний спектакль. Иногда я пищала: «Меня просили на “Юнону и Авось”⁴⁴...» И кассирша важно их доставала...

Но многие не хотели брать билеты с нагрузкой, и тогда я давала «без», потому что иначе билеты бы «сгорели». А за сгоревшие билеты платила сама.

На работе многие на меня косились: мол, сама уже везде побывала, а нам оставшуюся дрянь принесла. Но это была неправда. Хотя из этой массы билетов иногда можно было выловить что-то приличное.

Я обожала балет. «Жизель» смотрела пять раз. И даже когда мы были на экскурсии в каком-то городе, и у нас выпал свободный вечер, я пошла в местный театр на «Жизель».

Многие драматические спектакли я слушала по радио: «Дальше — тишина»⁴⁵, «Соло для часов с боем»⁴⁶... Когда начинался «Театр у микрофона»⁴⁷, я всегда старалась сесть чайку попить, поесть: и слушаешь, и вроде при деле...

Я помню, как мы выстояли огромную очередь на «Джоконду»⁴⁸. Людей запускали порциями, и нужно было быстро пройти мимо картины. Нельзя было задерживаться. К тому же совесть не позволяла долго стоять, если за тобой такая очередь.

ЖУРНАЛИСТ

Рахаева Юлия Феликсовна, 1957 года рождения. С 1976 по 1985 год работала в газете Первого московского медицинского института.

Очень большую роль в жизни играла переписка. Будучи школьницей, я написала письмо в Варшаву, в школу с таким же номером, как моя. Это не было общественным поручением, просто мода такая. Мне ответила моя Беата. Тогда многие переписывались, но у большинства

через месяц, год или два все заглохло, а мы с Беатой общались до рождения моей младшей дочери. Она два раза приезжала в Москву, ее отец был геологом, работал в СЭВе. И через него мы передавали друг другу посылочки.

Потом, конечно, в школе из моей переписки «выжали» стенд «Мы переписываемся с Польшей».

Мы даже решили заработать денег и поехать в Польшу в гости. Наша классная договорилась с фабрикой «Большевик», и мы целый месяц ходили после школы упаковывать печенье в коробки. Денег мы не увидели — они пошли на нужды школы.

Паковали печенье «Украинское», «Светоч», «Осеннее», а когда устраивали перерыв, то наши мальчишки бегали по всей фабрике и приносили бадью какао и всякого печенья, орешков в шоколаде... И мы пили это какао. Было прекрасно.

Еще помню, что у нас в школе регулярно проходила «Книжкина неделя»: мы ездили на экскурсии, к нам приезжали поэты, писатели, и это было здорово.

Я знала, что после школы буду поступать на журфак, но задача была такая: либо я в десятом классе делаю себе аттестат — тогда аттестат участвовал в конкурсе, а у меня было несколько ненужных четверок. Либо занимаюсь публикациями, необходимыми для поступления. Я решила сосредоточиться на аттестате.

И когда на вечере вручения аттестатов объявили, что я — единственная из школы — иду по комсомольской путевке на завод, — это был шок. У меня был лучший аттестат в школе.

Комсомольская путевка была красочная, красиво оформленная: «Райком комсомола такой-то направляет такую-то после школы туда-то». И школе хорошо, и райкому...

Я выбрала хороший завод, там собирали изделия для военных самолетов. К тому же там работала мама моей подруги, и я знала, что на заводе есть многотиражка, где я спокойно сделаю публикации. Рабочий

стаж тогда давал массу привилегий при поступлении, и я рассчитывала, что, проработав два года, я пойду в МГУ уже совершенно по другому конкурсу, с другим проходным баллом.

На заводе я сразу вошла в художественную самодеятельность, стала вести вечера. Еще мы ходили по каким-то чудовищным квартирам, в семье алкоголиков, пытались детей спасти. В саду «Эрмитаж» был дом: длинная анфилада комнат, все застелено газетами, и кроме газет, никакой мебели. В кучах тряпья копошились дети. И мы пытались объяснить взрослым, что их дети должны ходить в школу, вести нормальную жизнь...

На заводе я работала контролером ОТК, боролась за справедливость и за качество. Мой первый журналистский очерк в той многотиражке был о слесаре шестого разряда, который очень любил музыкальный театр Покровского. Это был фантастический дядька, не пил совсем...

Потом я поступила в ШЮЖ (Школу юного журналиста при факультете), в группу стажников. И мне удалось выбить себе на заводе библиотечный день: на режимном предприятии вдруг сработала липовая справка из школы журналиста.

До 18 лет на работу можно было приходить позже на час, а потом уже надо было появляться к семи утра, и этого я уже не вынесла. Поэтому, проработав всего год (вместо намеченных двух), я поступила в МГУ.

Я училась на заочном. Московская группа заочников могла ходить на семинары по русскому и иностранному, а на лекции — по желанию. Так что мы ходили, например, к Бабаеву⁴⁹, а на пустые лекции — нет, и никто не мог нам слова сказать.

Я должна была работать, желательно по специальности. И я снова пошла в свой любимый райком комсомола и сказала: ребята, вот я по вашей путевке сходила на завод, а теперь направьте меня поработать по специальности. И дядечка меня отправил в АПН, а там сказали, что есть место курьера.

В курьерской стояла электрическая машинка, и все курьеры в свободное время учились печатать. В АПН я стала местной чемпионкой по бадминтону среди женщин. АПН снимал в Бескудникове на какие-то дни школу с настоящим бассейном, и мы ездили туда играть в бадминтон, а после тренировок еще и плавали...

ЛИЕПА

В АПН я познакомилась с одной жуткой балетоманкой. Однажды начальству прислали билет на «Спартак»⁵⁰, и она выкрала этот билет, а второй подделала, переделав какой-то старый. И мы проникли. Танцевали Васильев, Максимов, Лиєпа и Тимофеева. Она села нормально по краденому билету, а меня загнали под самый потолок — все равно впечатление до сих пор живо.

После спектакля мы поехали на ул. Неждановой, к дому Лиєпы, и сидели в засаде в подъезде напротив. Мы видели, как подъехала машина, как из багажника долго вынимали цветы. Потом он вышел. Мы посмотрели. Не подошли.

Она же добыла билеты на прогон «Чиполлино»⁵¹, где Лиєпа танцевал принца Лимона. Это было не хуже Красса.

ПЕРВЫЙ МЕД

Мой сокурсник по заочному отделению Володя Смирнов пригласил меня в многотиражку в Первый мединститут. Его звали туда главным редактором, и я первое время там поработала машинисткой, а потом стала делать материалы. Я поработала там с 1976 по 1985 год.

Вся моя студенческая жизнь проходила в Первом меде, журфак я терпеть не могла. В лагерь ездила от Первого меда, на вечера ходила в Первый мед, и все романы у меня были медицинские.

У меня был ухажер на кафедре спортивной медицины, и он объяснил мне, почему немецкие спортсменки так успешны: мол, их накачивают мужскими гормонами, все не так просто... Это был единственный «медицинский секрет», который я знала. О карательной психиатрии я ничего не слышала...

Я была и остаюсь человек компанейский и коллективистский, который не может сидеть дома. А тогда комсомол был нормальной формой существования экстраверта. Я всегда была председателем чего-то, всегда — застрельщицей.

В Первом меде мощно процветала самодеятельная песня, я успела даже Визбора услышать. У нас была фантастическая художественная самодеятельность: несколько театров очень хороших, несколько ВИА неплохих, и все силами студентов. Медики — очень талантливые люди. Ежегодно проходили огромные смотры самодеятельности, это называлось «Весна на Пироговке». Танцы, игра на народных инструментах... А я об этом писала в многотиражке. Самодеятельность была менее подцензурна, но все было исключительно околэротическое, совершенно без политического подтекста.

Я помню, как три дня подряд мы встречали Новый год — сначала на Арбате, у моей сослуживицы по многотиражке, потом завалились ко мне на Тихвинскую, а потом поехали под Москву, на Чкаловскую, где жили две девочки из нашей компании. Но не было задачи просто собраться и выпить: мы перед 31 декабря собирались много раз, писали сценарий праздника, распределяли роли, разучивали, репетировали...

ТЕАТРЫ

Мы не были фанатками одного театра, мы любили все. Мой брат очень рано начал увлекаться оперой: у него был проигрыватель «Аккорд», и он скупал все пластинки. Из-за этого я ненавидела оперу чудовищно, и думала, что на всю жизнь. Но потом «рассосалось».

Мы с братом много ходили в Большой: он был фанатом Архиповой, Пьявко, Галины Борисовой, Галины Калининой. Стоя в ложе, я просмотрела почти все спектакли.

Ходили в музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, а на Таганку... Не было физических сил выстаивать эти ночные очереди. Однажды мы попытались что-то взять, но сразу поняли, что там своя мафия. Мы вели списки, но в какой-то момент оказывалось, что им грош цена, а даже если нам крупно везло, и наши списки никто не аннулировал, то к открытию подгребала бешеная куча инвалидов и забирала абсолютно все билеты.

Поэтому на Таганке я мало что видела, и в «Современнике» тоже.

После было так же трудно попасть на «Декабрьские вечера». А когда идет такой лом за билетами, когда надо прилагать невозможные усилия, я отступаю.

Очень большое впечатление производили спектакли Ленкома: «Автоград-XXI», «Тиль»⁵². Шатровский спектакль «Синие кони на красной траве»⁵³ был замечательный, внятный, что бы сейчас ни говорили. Они пытались дойти до сути. Это потом начались спекуляции, а тогда Захаров искал правду и пытался заразить зрителя. Пытался разобраться.

В театре Маяковского я помню «Беседы с Сократом», «Человек из Ламанчи», «Трамвай “Желание”»⁵⁴ с Немоляевой.

Я видела эфросовские спектакли: «Дон Жуана»⁵⁵ в двух составах, «Отелло»⁵⁶ в двух составах. Но больше всего мне понравились его «Три сестры»⁵⁷, причем я почему-то их видела не на Малой Бронной, а в филиале МХАта.

К Чехову все приходят по-разному, а некоторые не приходят вовсе, думают: чего шуметь, собственно? На этих «Трех сестрах» я поняла, чего шумят. А до этого я видела «Трех сестер» во МХАТе... Видела во МХАТе и зоринскую «Медную бабушку»⁵⁸ — и ничего хорошего про эту бабушку сказать не могу.

Мы ходили в театры, потому что была потребность. Мы не понимали, как это так: жить — и не ходить в театры. Жить — и не ходить в кино на премьеры. Не ходить в консерваторию. Я, кстати, больше любила ходить не в консерваторию, а на концерты в Дом ученых. Там была чудесная атмосфера. Например, у них был год бетховенских программ, и все исполнители давали Бетховена. Или год Шопена...

В моем кругу было неприлично не ходить. Если ты хотел что-то из себя представлять, ты должен был быть в курсе. В моей компании были девочки из разных семей, лучшая подруга была дочкой алкоголички, но она, безусловно, тоже ходила всюду. Хрусталь в сервантах никогда не становился предметом серьезного разговора.

Я знала, например, что обязана хоть раз послушать Рихтера. Я перевернула на себя слова Молчалина и считала, что «в мои лета уж должно сметь свое суждение иметь». Я должна была все увидеть своими глазами, чтобы понять, что я об этом думаю. И обязательно для себя сформулировать. Я даже пыталась вести дневник, но когда понимала, что пишу не для

себя, а в расчете на вечность, сразу заканчивала. Дневник — вещь интимная, а я не могла абстрагироваться и писать только для себя, видела, что начинаю играть...

ТАРКОВСКИЙ

Тарковский был знаковой фигурой, и я в состоянии оценить его фильмы. Я пошла на «Зеркало», потому что в моем кругу было обязательным посмотреть этот фильм. Выстояла безумную очередь. Но не могу сказать, что меня это перепало. Видно было, что человек что-то такое хочет сказать. Но у меня создается ощущение, что люди «вчитывают» ему свои собственные мысли.

Я не люблю, когда унижают аудиторию. Я была на одной встрече Тарковского со зрителями. Когда человеку задают вопрос, объясните это, — а человек отвечает: «Я снимаю свое кино не для дураков», — для меня такой человек просто перестает существовать.

Я выросла в семье двух филологов, так что в доме была хорошая библиотека. Кроме того, выписывались журналы, «Литературка», «Советская культура» — всегда. И рядом с домом была великолепная библиотека, которая называлась им. Сурикова, а теперь — им. Боголюбова.

Мы обсуждали и читали новинки, которые были на слуху: Бондарев, Айтматов. Они не были гонимыми писателями, но нам они были интересны. Мы читали классику, Золя, Мопассана, Флобера, Бальзака. Я очень читала «Иностранку»: Гессе, Франсуазу Саган, Торнтон Уайлдера.

Мы читали Мандельштама — он выходил тогда, Ахматову, Цветаеву, Булгакова: из-за границы привозили «Белую гвардию». Из-за границы вообще много книг привозили, они скупались там эмигрантами и нашими командировочными. Эти книги были хорошей валютой.

Из самиздата мы читали перепечатки Фрейда, книги по йоге. Мама моего приятеля была заместителем директора Ленинки⁵⁹, и привезла из Америки полный вариант «Мастера». Мой друг его перепечатал на машинке, и мне досталась слепая копия. Но к тому времени я уже, конечно, читала роман в журнале «Москва». Стругацких читала. А Солженицына — нет. Родители не давали, хотя папа даже был шапочно с ним знаком... Но

папа жил отдельно от нас. Он водил нас в театры. Во МХАТ и в Парк культуры. А мама выводила на каток.

Так что политическую литературу я не читала. И никакого желания не было читать.

ПОЛИТИКА

Мы совершенно не говорили о диссидентах, мы говорили о тряпках, о мальчиках, о книгах — обо всем, о чем говорят люди в этом возрасте. Мы были циниками и пофигистами, гораздо большими, чем сегодня. Анекдоты про власть — сколько угодно. Острое словцо — ради бога. Но почему-то никогда не хотелось всерьез с этим бороться. Нам не сильно это все мешало. Нельзя желать, чего не знаешь. Мы же многого не знали.

Я жила нормальной жизнью человека своего времени. Обожала пионерский лагерь, любила, что можно в футбол с мальчишками поиграть, в лес на костер пойти, танцы с мальчиками, приглашения.

С антисемитизмом я тоже не сталкивалась: нам мама очень рано поменяла фамилию, и еврейскую отцовскую заменила на свою, русскую.

Мой дед, отец отца, был расстрелян. Бабушка отказалась от мужа, поменяв сыну и отчество, и фамилию, так что у отца отчество и фамилия деду, моего прадеда. Естественно, я все это знала. Но то было при Сталине, а я жила в совершенно другое время, и все люди были реабилитированы. И это было хорошо известно...

А если вы спросите, как я относилась к Солженицыну, я отвечу — плохо. Может, такие талантливые были публицисты, с чьего голоса я обо всем знала, но мне тоже казалось, что если человек уезжает на Запад и оттуда начинает всякие гадости про Советский Союз говорить, — это плохо. Если считаешь, что здесь плохо, — пытайся что-то такое делать здесь. А не поезжай туда, где безопасно, и на безопасном расстоянии не начинай вещать. Наверное, я была наивна. Но они мне были несимпатичны.

И то, что я узнала потом о Солженицыне, только укрепило меня в моем отношении. Как он поучал Войновича, что негоже думать о деньгах, Синявского — что негоже русскому писателю искать славы за границей... У человека были двойные стандарты, ни о ком не думал, кроме себя.

К Сахарову было какое-то другое отношение. Мягче.

И страха у меня не было никакого. Я не играла в эти игры. Один из первых моих серьезных поклонников был курсант Высшей школы КГБ, и никакой брезгливости это во мне не вызывало. Я понимала, что он не стукач, а просто хороший математик.

Но чувства национального позора я ни за что не испытывала. Наоборот — гордилась. Нашими достижениями в космосе, в спорте, в искусстве. Как и все абсолютно.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Я смотрела все соревнования. В альбомы для рисования вклеивала вырезанные из газеты «Советский спорт» фотографии победителей, выписывала результаты... У меня за многие годы были данные, кто занимал призовые тройки, с какими результатами, и это был не просто азарт: я прекрасно помню, когда Линичук и Карпоносов победили Моисееву и Миненкова, я просто плакала. В это время я была в зимнем лагере Первого меда, там все болели за Линичук с Карпоносовым, и я чуть не полезла в драку — это уже было на грани фанатизма.

Поэтому конечно, когда наши стоят на пьедестале, и под гимн вверх ползет наш флаг, — то да, я испытывала те же чувства, что и спортсмены.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Из студенческих лагерей, с дач мы писали друг другу письма, в которых позволяли себе и игру, и аллюзии. Для студенческих посиделок сочиняли сценарии, пародии, поздравления. Я долго жила в коммуналке, так что по телефону особо долго не поговоришь. И по телефону особо не блеснешь. А письмо — другой жанр.

Тогда модно было играть: раздают всем бумажки, и нужно писать ответы на вопросы: кто, что делал, с кем, что потом случилось... После каждого ответа бумажки заворачивались так, чтобы не видно было написанного, и передавались по кругу. После последнего ответа все разворачивается — и получается несколько смешных рассказиков. У меня они до сих пор хранятся. Я недавно их показала дочери — и они с подругами

очень веселились, когда читали. Прошло тридцать лет, и ничего не изменилось...

Еще у меня хранились наши школьные записочки — тоже совершенно фантастический жанр. И письма хранятся.

И марки, и значки, и монеты собирала. Всё собирала, естественно. Потом обменивалась. Как все.

У нас были традиции. Например, смотреть фильмы в кинотеатре «Россия» первым экраном: мы жили недалеко, несколько остановок на троллейбусе.

Или мы садились с подругой на трамвай, доезжали до улицы Горького, заходили в небольшой книжный магазинчик рядом с комиссионкой — он был наискосок от ресторана «Маяк». Трамвай переезжал улицу Горького и шел на Малую Грузинскую. В магазине мы покупали билеты книжной лотереи по 25 копеек, и если выигрывали хоть что-то, хоть 50 копеек, то покупали книжку. Или что-нибудь другое. На 50 копеек можно было набрать массу открыток, или взять книжку из популярных серий о природе, о занимательной физике-математике. А потом мы заходили в кондитерский — на другой стороне улицы. Покупали шоколадку, конфеты...

И телевизор смотрели. Весь телетеатр Эфроса. Клуб кинопутешествий. Да, мы никуда не ездили. Но мы все видели. Это было интересно.

ЛЕТО 1980-го

Да никак я не воспринимала смерть Высоцкого. У меня тогда сыну был месяц. Все эти смерти я воспринимала по Джону Донну: «Не спрашивай, по ком звонит колокол — он звонит по тебе». Я никогда не была потрясена Высоцким — мне был ближе Галич. А в то лето — муж-геолог в экспедиции, в Москве Олимпиада, Высоцкий, Джо Дассен, который умер тогда же, я с ребенком одна...

ЗАПАД

У нас на магнитофонных лентах был и Deep Purple, и Led Zeppelin, и «Иисус Христос — суперстар». Иностранные фильмы мы смотрели на фестивалях. Конечно, индийское кино было моветоном, я так ни одного

и не посмотрела. Но Стенли Крамер, или итальянский неореализм, или Дамиано Дамиани — обязательно. В Москве было из чего выбрать.

Часто ходили на гастрольные спектакли. Помню, как немцы привезли «Волшебную флейту», и мы с папой смотрели ее в Большом, где-то под толком. Слышно было замечательно, а если встать — то и видно.

ПСИХОЛОГ

Сергиенко Елена Алексеевна, 1949 года рождения. С 1972 г. работает в Институте психологии Академии наук.

Я закончила факультет психологии МГУ в 1972 г., и меня взяли на работу в Институт психологии АН. Это было большое счастье: Институт тогда только открылся, а в то время работать психологу после Университета было совсем негде. Взяли шесть человек с курса в качестве стажеров-исследователей, на испытательный срок два года. Зарплату дали 100 рублей и ни копейки больше. Потом ты становился младшим научным сотрудником и получал уже 105 рублей. Это сильно увеличивало благосостояние. С «младшего научного» я «слезла» только после защиты кандидатской — в 1978 году. У кандидата было уже 175 рублей.

А чтобы стать старшим научным сотрудником, надо было, чтобы кто-то из старших научных умер и освободил ставку. Других возможностей не было. Жизнь была детерминированно простая. Кроме мэнээсов и старших научных, были еще лаборанты и заведующие лабораториями.

Сейчас сетка гораздо более дробная.

Старшим научным я стала в 1988 году. Перестройка свое дело сделала.

Работа была очень нормированная. Наш институт был академический, но новый, и надо было завоевывать позицию среди академиков. Приезжать к 10 утра — и сидеть до 18.45. А мне вечером бежать за ребенком в детский сад, и я всегда опаздывала, и ребенок каждый вечер чистил морковку вместе со сторожем.

Я жила в Тушино, а работала на ул. Вавилова, и дорога занимала часа полтора. Метро тогда не было, и я добиралась сначала до метро Академи-

ческая на трамвае (который как не ходил, так и не ходит — над ним время не властно), потом на метро с пересадкой до Сокола, и оттуда — на одном-единственном 102-м автобусе, из которого меня все время выкидывали... Я выходила с работы в 18.30 и успевала в садик только к восьми. Это было ужасно. И я плакала, и дочка плакала...

Потом я подписала у директора докладную, что буду приезжать на работу к девяти, зато уходить в шесть. Библиотечный день было получить очень трудно — надо было писать докладную записку, что тебе именно в этот день надо именно в библиотеку, прочитать именно такую литературу — и т. д.

Мы сидели в помещении бывшего детского сада, в полуподвальном этаже, и сначала там отклеивали обои, потом приклеивали, потом покупали какую-то аппаратуру — у нас года два ушло на какие-то смешные ремонтные работы...

Рабочий день проходил в чаях, разговорах, причем очень редко по научным проблемам. Чаще — по бытовым, семейным. Мы пытались что-то читать, писать — но когда в одной комнате пять человек, звонит телефон — ну что тут можно сделать?

Обсуждались газеты: кто что в них вычитывал. Нужно было проникать между строк... В этом был и азарт какой-то. Например, по тому, какие перемещения происходят на верхах, мы прогнозировали, что теперь изменится в политике и как это отразится на Академии наук... Любой институт был номенклатурной единицей, у нас был свой официальный куратор из ЦК КПСС. И если менялся куратор — то могли сменить директора, могли изменить структуру института, могли дать деньги или, наоборот, ужать деньги... Все, что угодно. И это обсуждалось — хотя и не так открыто, как дома. Анекдоты политические были самыми ходовыми.

Пьянка была жуткая, я сейчас вспоминаю и думаю: «Господи, сколько же люди пили!» Нам был положен спирт: у нас же электроэнцефалограмма... Делом техники было обосновать, сколько этого спирта тебе нужно: сколько обоснуешь — столько и дадут. И пили жутко. И я думаю: какое же у людей было здоровье! Еды толком не было, надо было ходить куда-то есть...

В рабочее время бегали по магазинам, потому что вечером купить было ничего нельзя, и лучшей лабораторией считалась та, где есть холодильник. Покупку холодильника тоже надо было обосновывать, но поскольку у нас были всякие препараты, электроды, то у нас холодильник был. Молоко, мясо покупали днем: обеденный перерыв не был строго нормирован.

Обсуждали то, что печатали в «Новом мире», в «Иностранке», а запрещенная литература почти не обсуждалась. Было совершенно ясно, что можно травить политические анекдоты, но что-то произносить вслух нельзя: названия определенных книг, имена... Не все были «своими»...

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ

Когда я вышла по возрасту из комсомола, меня все просили сдать комсомольский билет. А я никак не сдавала: уж больно не хотелось ехать. И мне сказали, что раз так, то мне его оставят как заслуженному комсомольцу — на память. Комсомольский билет у меня так и лежит, с фотографией моей сестры, которая на шесть лет меня моложе: мне было лень идти фотографироваться. Цинизм такой был...

Наш институт был наполовину организован военными: создать новый академический институт без поддержки вояк было нельзя, и у нас существовал закрытый первый отдел. В этом был компромисс директора. Военные были богатыми и давали заказы на исследования: их интересовала психология управления, организация систем отображения информации, подбор состава длительных подводных экспедиций, отбор космонавтов — да мало ли проблем... Подкидывали деньги и заодно сажали своих людей. Они и сейчас остались как «Инженерная психология» и «Психология труда». У них были допуски, закрытые темы и закрытые защиты. Но там редко были хорошие работы, это была синекура для своих. Атмосфера при Ломове⁶⁰ была отвратительная: все эти допуски, секретность, первый отдел, вояки, КГБ наверняка...

А я очень ловко всегда занималась детьми и никогда не лезла ни в социальную, ни в инженерную психологию, хотя деньги там были совсем

другие. Они ездили все время в какие-то странные экспедиции, откуда приезжали очень довольные и очень слитые друг с другом.

У нас были, конечно, какие-то собрания, на которых было очень тошно. Нас заставляли ходить на открытые партсобрания. Но все-таки у нас в Институте не было «дуболомов», когда политика и глупость одновременно... Все было смягчено интеллектом, ироничной подачей этих проблем. Кто на этих собраниях шил, кто вязал, кто книжки читал, кто сплетничал... Но ходить мы были обязаны.

У меня очень много грамот с Лениным. Грамота давалась, например, за то, что я написала пять статей, и хороших. Они давались за хорошую работу — и я ими гордилась. А то, что там Ленин нарисован, — ну что ж делать. Ну я тут родилась. Я понимала, что без бабушки было бы лучше, я же в университете выросла — там диссидентство с первого курса... У нас было все: запретная литература, за которую сажали, выгоняли из университета, Галич, Ким... Я могла из Кима спеть целый куплет. Я вообще не очень боялась. Но знала, что у меня есть ребенок, и если меня посадят и что-то со мной сделают — то неизвестно, как она будет без меня.

Это делало меня осторожной, но не настолько, чтобы стать совершенно закрытой.

В партию меня не брали. Сначала сама не хотела, а потом... Уже и защита прошла, а старшего научного не дают, и люди ездят в командировки заграничные, а меня отовсюду вычеркивают... Я первый раз поехала в Чехословакию в 1986 году, и то потому, что к нам приехал чех, старичок с палочкой, и мне поручили его «пасти»: я его возила в Тбилиси, в университет — он делал доклады. И этот чех настоял, чтобы меня пустили по обмену в Чехословакию.

Я страшно тряслась, что меня не пропустит комиссия в райкоме партии. Я беспартийная, личная жизнь была неправильная, я была морально неустойчивая, к этому времени уже в третьем браке, — и я ужасно боялась. Я газеты читала всегда: «Известия», «Комсомольскую правду» — выборочно, «Литературку» — выборочно. Новости я знала. Но боялась, что начнут издеваться.

Передо мной сидел человек — сейчас уже пропал такой типаж — в черном глухом костюме, с гладким лицом, как будто по нему утюгом

прошлись. Он сначала спрашивал про политику, как я отношусь к событиям 1968 года. Как в газетах было написано, так я и сказала, что отношусь. А потом он стал спрашивать о преимуществах нашего социалистического строя: у них же все можно было купить, а у нас нет... И я ему стала говорить что-то вроде «а что ж плохого, когда все можно купить?» И он начал меня муржить, и я понимала, что это уже издевательство. И я должна была или молчать, или начать ему объяснять, что он неправильно меня понял, потому что охота была поехать... Но он меня отпустил, промучив час. Меня в коридоре ждала наш секретарь парторганизации, нормальная баба:

— Че ты так долго?

— Про какие-то сапоги спрашивал... Издевался, как мог!

— Плюнь, забудь.

— Еще бы чуть-чуть, и я бы плюнула и сказала: да подавись ты своей Чехословакией!

— Но ты смолчала?

— Смолчала.

Результат говорили не сразу, парторг должна была звонить и узнавать. Меня выпустили.

Чехословакия сложное впечатление произвела: социализм там все-таки чувствовался. Там, конечно, был не такой уровень деградации, как у нас, но зашоренность была. Они с русскими вообще не хотели разговаривать. И в Чехии было хуже, чем в Словакии: если в Словакии более лояльно относились, то в Чехии — просто ненавидели. И было неприятно очень, потому что тебе самой это все было противно...

Помню, ко мне подошел какой-то человек и спросил, откуда я. Возникла пауза — я не хотела говорить, что я из СССР. И я сказала, что я из России. И он вскинулся: «А где это?» — он даже не помнил этого названия. «В СССР». И он сказал: «А...»

Мне не хотелось, чтобы меня принимали за человека из СССР, мне казалось это позорным и отвратительным.

Было общее, тотальное ощущение позора. Помню, как у нас висело гадкое объявление: «Пряники только членам партии».

У моего тогдашнего мужа брат был божемный свободный писатель, и у нас было навалом самиздата. Давали читать на несколько дней. Но когда я увидела, что этот самиздат тянет на очень большую отсидку (не Солженицын, например, а Марченко), то, не успев за ночь прочесть книгу, просила мужа отнести обратно. «Ты с ума сошла, ты приземленная...» — «Знаешь, если бы не было ребенка, я бы не сильно боялась. Но вообще я не хочу угробить свою жизнь из-за Марченко, и у меня ребенок. Скажи брату, чтобы больше таких книжек не носил».

А Солженицына мы читали спокойно, не только ГУЛАГ, но и «В круге первом», «Раковый корпус»: это не воспринималось как что-то ужасное. Во-первых, речь там шла о тех, давних, временах, во-вторых, я понимала, что книги запрещенные, но не сильно понимала, почему. Мы всё это знали. У меня много репрессированных родственников. Мне только непонятно, почему мама так любила и до сих пор любит советскую власть. Бабушка была из очень зажиточной семьи, и их полностью обчистили, все бриллианты, всё-всё. И у бабушки дома висел портрет Сталина, нарисованный ее собственной рукой. Я этого не понимаю...

Для человеческой личности очень важна самоидентичность. Для атрибуции мира и для понимания места личности в мире. А нашим родителям не давали возможность обрести эту самоидентичность, у их поколения была коллективная идентичность. Они некритично мыслят, верят, даже когда им говорят плохое.

Ребенок был заложником: я чувствовала, что я у нее одна, и было невозможно что-либо делать. И вообще, честно говоря, я не хотела убивать на это жизнь. У меня не было идеи, что я могу что-то изменить. Я могу в этом не участвовать, могу делать свое дело — и все.

Дома на кухне мы обсуждали литературу — то, что читали по ночам. Стругацких очень любили. Много было «отксеренной» литературы, переплетенной в небольшие альбомчики. Эти альбомчики было очень удобно читать в метро. Мне через плечо заглядывают, а я раз — и закрываю.

У меня вся эта переплетенная литература до сих пор стоит, я ее не выбрасываю. Эти книги для меня очень много значат. Они как напоминание, чем мы были и чем занимались.

Мы слушали очень много музыки: Галич, Ким. Западная музыка. Танцевать любили...

У меня было ощущение страшного цинизма вокруг, который охватывает все, куда ни погляди. Интрижки, легкие, быстрые любовные связи, которые были вокруг и которые я принять совершенно не могла. Вокруг был цинизм взаимовыгодных связей, пересыпов, выпиваний, скрещиваний и раскрещиваний, и это меня больше всего добивало.

Однако я могла не обращать внимания на то, как нас гоняли махать флажками какому-то очередному Асаду... Мы же на Ленинском проспекте работали, и нас выгоняли часа за два до того, как он проедет, в любую погоду. Зачем — не знаю. Чтобы была ровненькая линия, чтобы мы прониклись... И мы с флажками. Пол рабочего дня. Он проезжал, мы еще какое-то время стояли, потом расходились. По Ленинскому без конца кто-то ездил, и нас все время туда гоняли.

На демонстрации я умудрялась не ходить, и в Мавзолее была только маленькой. Бог миловал. В университете меня жалели, как кормящую мать, и на работе тоже освобождали. Не давали отгул — ну и не надо. Мне не нравилось. Я не хотела. Конечно, не говорила прямо: мол, не хочу. А что-то такое придумывала....

Во мне было много энергии, и я работала в профкоме, делала что-то нужное: путевки, детские сады, еще что-нибудь. Продуктовые заказы мне не доверяли, распределять их было делом очень престижным. Но я участвовала в организации вечеров: варила глинтвейн на три ведра. Спирт, коньяк, фрукты, вино — и все это кипятитьником в ведре, больше негде было. Пока варила, становилась в стельку пьяная: все же испарялось, я нанюхивалась, даже не пробуя. И когда все было готово, я ложилась в уголочке и засыпала.

А так — в самодеятельности участвовала, и танцевала, и выступала. Я была очень активная девушка.

Я помню «подвал» в газете, когда высылали Сахарова. Сосед принес мне статью, и мы сидели с ним на кухне, прочитали, покурили, поругались матом. Там грязи сколько было — на нее... Что он попал в сети этой гадины, что она вовлекла его в сионистские сети...

И я с изумлением вижу, как мои сверстники с удовольствием слушают эти «Старые песни о главном». Говорю: «Да вы вспомните, что это было!» — «Да ладно, — отмахиваются, — это же наша молодость, дружок...»

Были, конечно, моменты, когда я гордилась своей страной. Когда Гагарин полетел. Или что отец прошел войну: 9 мая я до сих пор уважаю.

Дочка у меня 1968 года рождения. Я ничего ей не рассказывала. Более того, я ездила с ней в музей Ленина, когда ее принимали в пионеры. Детей там доводили до обморока. Родителей в зал не пускали, и я отправилась посмотреть подарки руководителям партии. У меня начался там гомерический хохот: все эти портреты из риса, перьев, почти что из дерма... И я вышла такая веселая, а дочь вышла бледная и сказала: «Мам, у нас там мальчик один упал в обморок...» Я говорю, ну что ж его так плохо подготовили родители, надо было покормить... Старалась все подать с юмором... Ребенку психологическая раздвоенность не под силу. Я ей говорила: окончишь школу — и делай что хочешь.

Муж у меня в почтовом ящике⁶¹ работал, потом 15 лет сидел без выезда. Он мне рассказывал: «Ты не представляешь, какой это цинизм». В восемь утра все должны быть на месте. Охрана с пистолетами, ни войти, ни выйти в середине рабочего дня. И все слоняются по коридорам, людям нечего делать. От тоски и скуки уже трахаются по туалетам. В шахматы открыто играют, бабы вяжут платья. При этом — крутой «ящик», правительственная связь. И все между начальниками решалось: кому премии, кому — талоны на пальто...

Эти талоны я хорошо запомнила. У мужа в отделе разыгрывались талоны на пальто, и ему достался. Добытчик. Надо было ехать на автобусе от Таганки, в магазин «Одежда». Захожу — бабы роятся из Гришкиного отдела, которым тоже талоны достались. Их отдел шел строго с часу до двух. Они сразу взгляды на меня, и я просто почувствовала эту ненависть: кому-то из наших не досталось, а этой жене... Пальто было длинное, двубортное, прелестное. Вдруг вижу — вдали висит еще и зимнее пальто, замечательное. Спрашиваю: «А это что такое?» Оказалось, что девушка какая-то отложила, а брат не хочет, «и талон остался...» Я очень быстро ориентируюсь: «Минуточку! Пятнадцать минут — просто денег не хвата-

ет — и я его беру». Примерила — сидит хорошо. Деньги — у Гриши, Гриша — на работе, в «ящике». Бегу к нему. Он: «Ты что, с ума сошла! Меня же бабы убьют, если ты за один талон два пальто купишь!» Я: «Какая тебе разница, а у меня зато будут два пальто!»

И я купила. И пока он не ушел с ящика, ему все вспоминали эти два пальто.

Мы все ходили в одинаковых кофтах, а наши мужья ходили в одинаковых рубашках. Мы все носили не то, что хотели. Когда потом появилась возможность выбрать, это было самое трудное.

Мы ходили только на подпольные спектакли, которые устраивались в подвальных помещениях, в ДК. Вампилова смотрели. Играли актеры официальных театров, которые ставили эти пьесы для себя. О спектаклях узнавали через друзей. У меня была подруга — она ходила в клуб самодеятельной песни, и там была абсолютно диссидентствующая публика. Все эти спектакли были бесплатными.

Ходить в официальные драматические театры было неинтересно. Таганка была для белых, достать билеты было нельзя. Эфрос — недоступен. Билеты на их спектакли распространялись в своей тусовке, не у нас.

Нам было доступно кино. Кино было все наше, весь «Повторный фильм»⁶². Мы видели всего Антониони, «Певчий дрозд»⁶³... Купить билеты на дневной сеанс было совсем не трудно, особенно у алконавта. Он за 25 копеек купил билет и, трепеща от своей наглости, просил рубль. Но рубля было не жалко — потому что попадал на шикарное кино. Так я попала на «Зеркало». Народу было битком, но ровно через 20 минут половина зала ушла. Они ничего не поняли. Пришли, потому что молва: Тарковский, полузапрещенный...

Я очень люблю балет. В 1978 году я видела Бежара⁶⁴. Мы с подружкой двое суток отстояли в кассу Большого театра: билетов было мало, народу — много, и почему-то продавали маленькими порциями. Мы были тысяча какими-то, и наш черед подойти к окошечку наступил через двое суток. В определенное время надо было приходить на перекличку: в шесть утра, в восемь вечера... Мы попали на один спектакль, уже не помню, на что именно, и были счастливы. Это была другая стилистика, другой балет совершенно.

С ним можно сравнить впечатления от выступлений ленинградской труппы Леонида Якобсона⁶⁵. Это было потрясающе. Они выступали почти без декораций, в обтягивающих костюмах. Я видела балеты Якобсона два раза, они танцевали в театре Станиславского.

Мы обязательно посещали все левые выставки на Малой Грузинской. Конечно, мы ходили и на хорошие официальные — но их было мало, и всегда ходили в Пушкинский на привозные выставки.

Самые сильные впечатления? «Зеркало», Бежар, «Затмение» Антониони. После «Затмения» я не понимала, как мне дальше жить. В этом фильме было совершенно другое ощущение жизни...

Было ощущение, что настоящая жизнь — там, в культуре. Отсюда брать нечего. Сейчас больше плотских удовольствий, больше возможностей, чем тогда. В той, прежней, жизни, ты знал, что будешь делать до самой последней минуты.

Жизнь состояла из того, что тебе удалось прочесть, в кого ты влюбился, что ты посмотрел, что послушал.

В консерваторию я ходила на абонементные концерты, раз в месяц. Все детские спектакли в Москве я посмотрела дважды, со старшей дочерью и с младшей. В воскресенье у нас было обязательно либо театр, либо кино. И была традиция: если мы куда-то идем, то едим где-то на стороне. Я еще старалась, чтобы это было в приличном месте, и на три рубля уж можно было поесть: или блинчики с мясом в Артистическом кафе, или купаты какие-нибудь...

Я вообще очень ждала воскресений. Третья программа радио по воскресеньям давала спектакли. Я слушала, и при этом стирала, готовила обед. Я столько спектаклей прослушала... Очень жалела, когда все закончилось.

Я слушала Беллу Ахмадулину, она выступала по клубам. Один раз на Автозаводскую ездили, другой раз — на Коломенскую. И почему-то всегда это было на другом конце Москвы.

Мы ездили в командировки в Питер, и там по командировочному удостоверению можно было купить билеты. Командировочным давали первый-второй ряды, и ты чувствовал себя человеком. Меня поразили «Ревизор»

зор»⁶⁶ с Юрским — Хлестаковым: я просто не ожидала, что это можно так. Я умерла, и все. У меня все болело от смеха.

У меня совсем не было денег, так что я не знала азарта доставать хрусталь, сапоги... Конечно, хотелось, чтобы в доме было уютно, чтобы были какие-то стильные вещи. Но мебель мне досталась от родителей, которым она надоела. Мне хотелось всегда покупать книжки. Если удавалось — счастье. Или билет на хороший фильм — тоже счастье.

Я закрутила виртуальный роман с дядечкой из книжного магазина, не допуская, однако, его перехода через прилавок. И он мне оставлял книжки: и детские, и взрослые. И тогда все это казалось чудным. А сейчас думаю, не отнести ли мне их бомжам — почитать. Все это казалось нам тогда жутко необходимым, но сейчас увяло — по сравнению с теперешними возможностями.

Я помню, как в институте разыгрывали подписку на Салтыкова-Щедрина, и я выиграла. И я пришла домой такая гордая, будто на Луну слетала: «Знаешь, что я достала?!» Я чувствовала себя первым номером в семье, где я одна могла что-то достать. Подсуетиться, перезанять... 25 рублей был максимум, который я могла выложить за книгу. И я выкладывала — четверть зарплаты — за переплетенные ксероксы Фрейда, Юнга, «Мастера».

Мне нельзя было устроиться по совместительству, и я устроилась по паспорту моей умершей бабушки пробивать перфокарты. Оставалась после работы на 2—3 часа, пробивала. Получала за это 30 рублей в месяц, это было немало.

Еще делала переводы научных статей в ВИНТИ (Всесоюзный институт научной и технической информации). Если сделать очень много переводов и рефератов, то получалось 30—40 рублей, и я могла купить ребенку куртку. Это были копейки за такой тяжелый труд, но все же это было по специальности — лучше, чем набивать карточки.

Два или три раза в жизни я ходила в ломбард. В этой очереди стояли люди дна и люди, которым не на что было жить. Как мне — младшему научному, у которого ребенок на руках и который заплатил 25 рублей за книжку. Не будешь же все время занимать — это неудобно... Надо было

подходить часам к девяти утра, и если повезет, то пройдешь к обеду, а если нет — то к концу дня. Брала отгул, или врала, что еду на эксперимент... А сама ехала на Войковскую — там был большой ломбард — сдавать два золотых колечка: обручальное и то, что мне мама подарила на 16 лет. За все я могла выручить 15 рублей, но на это можно было на два дня приготовить еду. Выкупать нужно было по той же цене, кажется. Может, больше. Не помню.

Но это было страшно — ты чувствовал себя не просто униженным, а на дне. И я тогда поклялась, что выберусь, что защищу диссертацию, и у меня, может, не будет много денег, но в ломбард я ходить больше не буду.

Еще сдавала бутылки с алконавтами. Их всегда восхищало: идет маленькая женщина, 44-го размера, а за спиной — огромный рюкзак с бутылками. И общие переживания: пройдем до обеда или нет... Жуть.

УЧЕНЫЙ, ЛИНГВИСТ

В 1970-е годы работала в Институте русского языка Академии наук.

За колбасой в очередях мы не стояли, старались избегать таких очередей. А на «Джоконду»⁶⁷ приходили рано утром и стояли часа четыре на верняка. А может, и больше... Помню, долго стояли, чтобы посмотреть выставку музея Прадо⁶⁸. Помню, как потряс Модильяни.

Мы очень долго стояли на выставку Шагал⁶⁹, а когда попали туда, то с удовольствием ходили по залам. И я слышала разговоры в публике: «Господи, какая мазня, и зачем я только простояла так долго!»

Мы не ездили за границу. Тогда ездили только члены партии, а я никогда в партии не была. Раз в пять лет в славянских странах проходит Международный съезд славистов, но мы никогда на него не попадали: ни

в число докладчиков, ни в группу сопровождающих «туристов». Обидно было, но мы относились к этому так: «не наше, ну и бог с ним».

Но однажды был съезд славистов в Киеве, а нас и туда не пустили. Не включили в группу. Мало того — туда нельзя было даже пойти послушать доклады, в здание пускали только по пропускам участников.

Так что научный туризм шел мимо нас.

Группа из нашего института ездила в ГДР. Они ездили по всей Германии, и на Берлин оставалось мало времени. И одна из сотрудниц, зная, что в Берлине есть прекрасный Пергамон-музей, сказала, что она останется в Берлине на три часа и присоединится к группе в следующем пункте, догонит на поезде. Старшая в группе ответила: «Ни в коем случае, я вас не отпускаю». Но в ответ наша сотрудница возразила, что просто не может уехать из Берлина, не увидев Пергамон-музеума. И осталась, а после присоединилась к группе. После поездки на нее написали донесение в партбюро, в дирекцию Института. И больше она никуда не могла поехать.

Можно было поехать за деньги в турпоездку, через профсоюз. Так я в 1964 году была две недели в Чехословакии и Венгрии. Накануне поездки мы проходили инструктаж. В разных местах зала сидели группы людей, перед каждой группой стоял человек и «инструктировал» своих. Основное правило было — никуда не отлучаться без ведома главного, и вообще везде ходить группой. Хожение толпой удручало.

У меня отец — чех. Он приехал сюда, женился на маме, русской, в 1938 году его взяли. Отец отсидел сначала десять лет, потом ему добавили еще десять. Вышел он в 1956 году, больной совершенно, приехал в Москву в больницу и через полгода умер.

У меня были его письма к родственникам в Прагу, но я не решалась им написать. А потом — то ли все-таки написала, то ли заехала к ним, когда оказалась в Карловых Варах по путевке. Мы познакомились, и с тех пор иногда к ним ездила по частным приглашениям.

Но перед каждой поездкой надо было идти на партбюро. Мне задавали всякие вопросы, политические, самые нелепые. Кому что в голову взбрело, то и спрашивали.

Но первый вопрос всегда был: как ваши родственники оказались там? Я отвечала, что они там всегда жили. А почему они там жили?.. И люди, которые меня расспрашивали на парткоме, до сих пор работают в нашем Институте. Мы встречаемся в коридорах, здороваемся... А что делать?..

А когда началась перестройка, я впервые поехала уже в командировку в ГДР. Меня вызвали в райком на собеседование. Но в тот вечер по телевизору показывали французский фильм по Мопассану, «Милый друг». И все эти дяденьки очень спешили, и ни одного вопроса не задали...

ИНЖЕНЕР

Винокурова Людмила Михайловна, 1946 года рождения. С 1978 по 1992 год работала во Всероссийском научно-исследовательском проектно-конструкторском светотехническом институте им. С. И. Вавилова (ВНИСИ).

Я — дочь офицера советской армии, так что с детства пришлось поездить. Мы жили и на Украине, и в Дагестане, в Прибалтике... С шестого по восьмой класс я училась в Германии, а потом меня родители отправили в Москву, и я жила в семье у отцовского друга. А он работал в КБ у Туполева, так что проблем с посещением театров у меня никаких не было: закрытые предприятия очень хорошо снабжались билетами. Я попадала и в Большой, и в оперетту, и во МХАТ. И все билеты были в партер, достаточно близко от сцены.

Когда я смотрела оперу, то словно попадала в другой мир. Со мной что-то происходило: я переставала помнить, кто я, что я... Может, накладывало отпечаток сознание того, что попасть на этот спектакль было совсем не просто...

Когда я училась в Московском политехническом институте, отца направили из-за границы в Пермь. Я тоже перевелась в Пермь и там уже доучилась. Там, в Перми, и замуж вышла. В Москву мы перебрались уже в 1978 году, с двумя детьми.

В Москве я работала во ВНИСИ, начала с инженера, а закончила старшим инженером-конструктором.

У нас в институте все были с высшим образованием, писали научные книги. Но книголюбов, тех, кто по-настоящему много читал, были считанные единицы. Часто хотелось поговорить про новую книгу, обсудить. Но когда я начинала: «А ты читала эту книгу?.. А когда ты последнюю книгу читала?» — «Ой, не помню... Много лет назад!»

У нас работали кандидаты наук, которые неграмотно писали.

Работала я во ВНИСИ до 1992 года, пока не ослепла на один глаз. Мне пришлось уйти — однажды я не увидела, что начертила за кульманом. Все, кто работал в нашем институте столько же времени, сколько я, или даже больше, — все или умерли, или стали инвалидами. Наш институт оказался очень вреден...

Я бывала в театрах: на Таганке несколько раз, в Моссовете на «Карамазовых»⁷⁰. У меня не было возможности часто ходить в театр: двое детей и муж, который не любил бывать дома.

МАКУЛАТУРНЫЙ АЗАРТ

Основным удовольствием того времени были книги. Мы ночами стояли, чтобы сдать макулатуру и получить томик Дюма, например, или Дрюона. На пункте приема макулатуры заранее вывешивалось объявление, какого числа будут давать какую книгу, но ведь талонов могло не хватить на всех их было всего-то 15—20 штук. Поэтому приходили с макулатурой с вечера, занимали очередь. За талон на книгу нужно было сдать 20 кг макулатуры, за двухтомник — 40 кг. Люди с высшим образованием перли на себе эти килограммы, потом писали номерочки на ладонях и дежурили. Зимой ходили в соседние подъезды греться и через определенное время приходили среди ночи на перекличку. У меня была подруга-театралка, и мы с ней коротали ночи тем, что она пересказывала спектакли. Так подробно, что и ходить не надо...

А сейчас о чем говорим? О тряпках, об изменениях в нашей жизни. Совершенно незначительные разговоры — а я не помню, чтобы раньше мы вели такие разговоры...

А утром макулатуру сдаешь, получаешь свой талончик на книжку, за-
скакиваешь на минутку домой — и бегом на работу.

Я очень много читала. Почти все книги, которые есть дома, я прочла, а книг у нас очень много: они в шкафах, в коридоре, на антресолях, во всех комнатах. Как-то нас обокрали, причем взяли самые приличные книги. Да и гости приходящие тоже потаскивали. Много пропало: дала почитать и забыла кому. А бывало, что дашь книгу почитать, а ее не возвращают. А обратно потребовать наглости не хватает. Но я все равно никогда не жалела давать книги. Несколько раз нарывалась: я дам кому-то книги, а они мне — нет: «У нас не принято давать читать». Мне это было непонятно, я терялась... А когда я теряюсь, то ничего не могу ответить...

Дефицит книжный был страшный, и я доставала книги у друзей, по знакомым. А из библиотек не тащила. Многие тащили, а я никогда не могла взять чужое.

Читала Золя, Стендаля, Мопассана. Диккенса прочла полтора раза: первый раз — всего, второй — избранное. Он был в библиотеке у моей подруги. Читала самиздат: «Дети Арбата» Рыбакова, «Белые одежды» Дудинцева. Очень трудно было достать детективы, и их я покупала из-под полы, около книжных магазинов. Хотя этих продавцов гоняли. Или менялась книгами с коллегами.

Мои родители привезли из Германии прекрасную библиотеку, но ее трудно было перевозить с места на место, и книги временно оставили у брата отца в Крыму. И родственники потом нам ее не вернули. Мама мне не стала ничего объяснять, сказала просто: «Библиотека пропала...»

Я могла совершить безрассудный поступок: купить из-под полы книгу, когда деньги нужны были на еду. Так, я купила за 20 рублей «Женщину в белом» Коллинза, уже потрепанную, не новую. Но не было жалко денег. Я могла экономить на себе: могла ходить в одной юбке и двух кофточках, но голод интеллектуальный старалась заглушить.

Я очень долго читала «Архипелаг ГУЛАГ», мне становилось плохо... Прочту одну, две главы — и отдаю обратно (его нельзя было долго держать у себя). А потом снова беру...

А детям я не могла дать читать «ГУЛАГ» — это и для меня-то был шок. Я их оберегала. Сыну старшему давала читать что-то, когда он учился в десятом классе: кажется, «Белые одежды» ...

ПОКУПАТЕЛЬ СОЛИ

У нас не было возможности сесть и спокойно подумать, что же происходит. Утром бежишь на работу, в обеденный перерыв — по магазинам. Стоишь в очередях за продуктами. Причем все заканчивается именно тогда, когда перед тобой остается один или два человека... Где-то в подсознании было, что это ненормально, когда ты не можешь купить кусок мяса или масло. Но это было изо дня в день, и ты привыкаешь, и думаешь, что так и должно быть... После работы опять по магазинам, купить что-то элементарное, типа соли. Ведь бывало, что и соль нельзя было купить: периодически запускались какие-то провокационные слухи, что надо ждать чего-то плохого, что пора закупать соль и спички... И начинаешь закупать...

А когда приходишь домой, нужно срочно что-то приготовить, постирать, собрать детей. Потом спать — и по новой... Я очень заматывалась.

Доставали, конечно, и хрусталь, и мебель, холодильник, стенки. Но эти покупки, в отличие от книг, не имели жизненно важного значения. Вот эту стенку, которая у нас до сих пор стоит, мамин брат доставал по огромному блату. Мог и лучше достать — но они нам были не по деньгам. А вещи... Если мне нужны были сапоги, то я откладывала по 10 руб. в месяц, и через год покупала.

Когда я родила сына, то потихоньку вышла из комсомола. Мне предложили перейти на другую работу, я согласилась, и когда оформлялась, то сказала, что не комсомолка. Было понятно, что комсомол — это игра, но если раньше у меня было много свободного времени, то теперь появилась семья, и я не могла сидеть на этих собраниях: надо было за ребенком в ясли...

МОЯ БОРЬБА

У меня не было ощущения опасности. Я понимала, что несправедливость была, есть и будет всегда. Но эта несправедливость у меня ассоциировалась не со строем, но всегда с конкретными людьми. Когда кого-то обижали, я всегда заступалась. Но всегда — за кого-то, а не за себя.

Мне не приходило в голову противостоять режиму, или хотя бы его не поддерживать. Сейчас мне стыдно. Но тогда очень многое зависело от твоего поведения. И зарплата тоже.

Я помню, что как-то на евреев пошло гонение: их не увольняли, но притесняли, перестали принимать на работу. И люди начали уезжать в дружественные страны по путевкам и не возвращались. В нашем институте не могло быть антисемитских настроений: у нас все, начиная со старших научных сотрудников, были евреи. И когда кто-то очередной не возвращался из поездки, то говорить об этом не говорили, но на лицах чувствовалось одобрение: «Молодец, мужик, сумел вырваться!»

А гордость за свою страну если и возникала, то совсем в пионерские годы. А потом уже нет, никогда.

Я помню совершенно чистую, пустую Москву в дни Олимпиады. Я вывезла детей из города: мы все боялись провокаций. Нам говорили, что приедут люди из разных стран, в том числе из капиталистических, недружественно относящихся к нашей стране. И они могут и воду отравить, и бомбу подложить...

ТАРКОВСКИЙ

Был период, когда я очень увлекалась фантастикой. Читала Стругацких, Лема. Поэтому, конечно, смотрела все, что связано с фантастикой. И Тарковского в том числе. Но режиссеров я не запоминала. Когда кино посмотришь, то рассказываешь про что, по какому роману, и кто играет. А режиссеров мы не запоминали...

Максимова Ирина Родионовна, 1937 года рождения. С 1960 по 1973 год работала во Всесоюзной книжной палате. С 1973 года — научный сотрудник Института промышленного развития «Информэлектро».

С 1960 по 1973 год я, окончив филфак МГУ, работала во Всесоюзной Книжной палате. С 1968 года я была главным библиографом архивного отдела советской печати.

В наш спецхран с начала советской власти поступал обязательный экземпляр, у нас были все книжки врагов народа: весь Троцкий, Зиновьев, Каменев, «Несвоевременные мысли» Горького. Там почему-то был даже Хаксли.

Библиотекарями работали девочки, только окончившие школу, с зарплатой в 69 рублей. Мы сидели в храме Мартина Исповедника на Большой Коммунистической улице (сама Книжная палата находилась под Большим каменным мостом). Наша церковь была разделена на пять с половиной этажей, и на последнем был спецхран, за решеткой и под замком. Ключ у шефа. А когда я стала вторым лицом в отделе — то и у меня. Была еще женщина, которая должна была уничтожать пыль на всем массиве книг, и ей вообще никаких допусков не требовалось. Но она этих книг и не читала.

Когда увидела все это, то просто обомлела. Можно было переснимать книги: мы друг другу доверяли, и никто ни за кем не следил...

Однажды я принесла на работу и положила на стол под стекло фотографию Солженицына: он приходил в Институт русского языка, и кто-то фотографировал... И мой шеф, смущаясь, спросил: «Это ваш папа?» И одна моя подруга ответила: «Ну как будто у Ирины Родионовны не может быть знакомых...» Я устыдилась, потом унесла фото домой.

К Солженицыну у меня так и осталась глубоко личная признательность. И выражение «властитель дум» применительно к нему было наполнено для меня большим смыслом.

Помню, как вдруг кто-то в двенадцать ночи приезжает в гости и привозит машинописный экземпляр рассказа «Не стоит село без праведника». И мы сидим всю ночь, и кто-то читает вслух, не жизнь, а сказка...

Но в Книжной палате я не переснимала никаких книг. С 1968 года у меня появились более горящие дела.

Мы переснимали весь сам- и тамиздат. С 1968 года начала выходить «Хроника»⁷¹, которую я перепечатывала с первого до последнего номера. Кажется, я единственный человек, кто перепечатывал каждый номер, с 1968 по 1983 г. На машинке, 10 экземпляров. Первый номер, кажется, был странички три, потом — пять. Потом были номера и по сто страниц, информации стало больше. Я никогда не принимала участия в составлении — я только перепечатывала и отдавала девять экземпляров «работодателю». Первым редактором «Хроники» была Наташа Горбаневская, а мы вместе учились на филфаке. И с тех пор мы душевные подруги, хотя абсолютно разные.

Фотолаборатория помещалась в ванной — тогда у нас был совмещенный санузел, было удобно. Муж делал львиную долю работы при пересъемке, но все равно эту работу надо было делать вдвоем: успеть переснять за ночь то, что нам давали. Чаще всего это были книжки, например, четыре тома ГУЛАГа. Или тамиздат.

Было очень много путей, которыми это появлялось. Наташа Горбаневская уехала в 1975-м, и с 1979 года во французском консульстве появилась девушка, которая спокойно провозила все, что нужно. И муж приносил это домой в красивом пакете.

ТЯЖЕЛАЯ ДОМАШНЯЯ РАБОТА

Мы горели энтузиазмом, каждый делал, что мог. В этом был, конечно, колоссальный азарт. Но мы не лезли на рожон. Когда у тебя маленький ребенок — понятно, чего можно бояться. Мы хорошо знали позицию КГБ. Если ты официально работаешь и не выходишь на демонстрации — тебя, скорее всего, не тронут.

Переснимать и перепечатывать было не страшно. Страшнее было подписывать письма, это был более нахальный шаг. Я подписывала. В этом был и азарт, и потребность души...

Иногда люди, которые занимались перепечатыванием и фотографированием, куда-то исчезали. Их сажали, или они уезжали, или просто утаивали этим заниматься. Было тяжело. Надо было детей растить, на работу ходить, дом вести. И спать желательно. И тогда работодатели сказали: ничего не подписывать. Не светиться.

Изготовление «Хроники» и печатание бесконечных книг и статей было суровой домашней работой. В моей жизни было пятнадцать лет, когда я спала по пять часов в сутки. И меньше. Я думала: а кто может узнать, что я перепечатаваю? Потребности рассказывать кому ни попадя у меня не было, а распространяла литературу я очень хорошо и широко. Но я была уверена в людях, которым это все отдавала.

Я понимала, что даже если это полезно для жизненного опыта, мне не хочется никакой тюрьмы или лагеря. А куда деть ребеночка, который был болезненным с самого начала? Поэтому мой страх был такой: чтобы не попался кто-нибудь ну совсем неподходящий или очень уж болтливый...

У меня в душе был мир — я считала, что поступаю правильно. А эмигрировать — боже упаси, как это можно? У меня здесь дела. Часто было острое ощущение, что ты живешь, как у Оруэлла в «1984». Поэтому, если ты можешь хоть что-то сделать, хоть минимум, хоть как-то выразить свой протест, то ты это делаешь, потому что это дает возможность испытывать самоуважение. Это очень существенно.

Тяжело было чисто практически. Но зато с полноценным отпуском. Один месяц в году — никаких пересъемок: мы уезжали с ребенком на море. После я сказала Шихановичу⁷²: «Как же я была счастлива, когда Вас посадили!» Он сказал, что тоже был счастлив. В то время мне уже очень тяжело было: гипертония, кризы. Но чуть придешь в себя — и опять, по новой.

Впрочем, когда «Хроника» стала очень большой, то уже не надо было столько переснимать. Соблюдалось какое-то равновесие. Уже в начале восьмидесятых появилось много книг, а не фотокопий, люди стали де-

литься именно книгами и обнаглели: начали даже в метро читать... А сразу было видно: наше издание читают или иностранное...

МАШИНКА

У нас в доме испокон веков была пишущая машинка. Потом, когда у кого-то арестовали очередной номер «Хроники», стало ясно, что машинку найдут. И мы переделали ей клавиатуру на латинскую: это спокойно можно было сделать в мастерской. Муж тогда пытался подрабатывать переводами. А на новую машинку мне дали денег работодатели. Я купила электрическую, и стало намного легче работать: «Хроника» к тому времени стала большая, а я не была профессиональной машинисткой и печатала двумя пальцами. Хотя у механической машинки был сильнее удар.

ИНФОРМЭЛЕКТРО

Я ушла из Книжной палаты, потому что наступил «кризис жанра». Сидела как-то на работе: толстые стены, окно, решетка. И я вдруг подумала: «Да что ж я и буду здесь сидеть еще 20 лет, до пенсии, за этой решеткой?» И стала искать другую работу.

И в 1973 году я ушла из Книжной палаты в Информэлектро. Когда работала там, стало легче переснимать: у меня были даже библиотечные дни. Напечатаешь что тебе надо, потом идешь на работу...

Наш отдел в Информэлектро был удивительным местом. Ты мог положить на стол фотоэкземпляр Солженицына и читать. И любой из нас. Мы на работе обсуждали литературу, спектакли, цитировали напропалую Солженицына и Стругацких. Замечательное было время. И проколов не было никогда — ни одного стукача в отделе. Такого больше нигде не было, наверное. Но я знала, куда шла работать.

ШЕФ

Его звали, как лошадь Толстого, — Делир. Делир Лухути. Это его несчастный отец писал: «Сталин — это солнце». Мы ему говорили: «Делир Гасимыч Лухути, вы на неправильном пути...»

Иногда шеф входил в отдел и начинал читать стихи наизусть. Один раз он, сильно огорченный, вдруг зачитал по-персидски. Не узнать Хайяма было невозможно. А накануне у нас дома был какой-то гость, и мы читали вслух Хайяма (мы это до сих пор любим: читать вслух, и с гостями тоже). И мне показалось, что шеф читает те самые стихи, и я возьми да и прочти это по-русски. Оказалось, что угадала.

Мне везло: если я сильно опаздывала, часа на три, то все равно приходила за две минуты до появления на работе шефа. И когда он задавал мне вопрос: «Ну, что, Ирина Родионовна, какие новости?» — я бодро отвечала: «Ничего существенного». И пока он с кем-нибудь здоровался, я все разузнавала и потом входила «с докладом»: «Да, вот это... Только что стало известно...»

Про него было известно, что он не только знает наизусть много стихов, но и очень любит Шнитке. И когда ему исполнялось пятьдесят лет, один из наших товарищей придумал замечательную вещь. Купил пластинку, пошел к Шнитке и попросил сделать надпись. Просто объяснил, что шеф очень любит его музыку. И Шнитке что-то нежное написал. Лухути был очень тронут. Это было в 1984 году...

ТЕАТРЫ

После филфака мне хотелось поступить в ГИТИС на театроведческий факультет, я даже писала рецензии...

Театры — единственное, на что я находила время. Мы работали рядом с Таганкой и командировали в рабочее время сотрудниц стоять за билетами. У нас работали девочки и мальчики, которые жили рядом. Они стоят ночь, кто приходит на работу, идет их сменять: кассы открывались не раньше одиннадцати часов. Специально брали разрешение шефа.

На Таганке я чаще всего получала удовольствие от «фиги в кармане». Но «Галилей» мне очень понравился со специфической, театральной точки зрения. И — душа горела — я целую ночь писала свой личный отзыв, хотя это было уж совсем никому не нужно.

Нас очень завораживали эти любимовские фиги... И стругачки...

Я все пересмотрела на Таганке до «Мастера», почти все — у Покровского. Потом — Розовский (он был большим другом Наташи Горбанев-

ской): много общих друзей играло у него в университетском театре. Их вскоре закрыли. После под руководством Розовского был литературный театр, они продержались года два, там Филиппенко блистал, и была даже эпиграмма: «И все фоменки и губенки не стоят пятки филиппенки».

Со студенческих времен ездили в Ленинград в БДТ. Я сумела посмотреть «Идиота» со Смоктуновским: стояла около кассирши и умоляла. И минут через 20 после начала спектакля она мне все же какую-то фиговую дала. И я вошла в зал в тот момент, когда Мышкин и Рогожин еще едут в поезде... Я ничего не потеряла, а впечатление осталось на всю жизнь.

ГАЛИЧ

Два раза мне приходилось бывать на домашних концертах Галича. Входишь, тебе открывают. Люди сидят на стульях, на доске, положенной на табуретки. Человек сорок в комнате, набито. Кто-то стоял у стен, кто-то на полу сидел. У дальней стенки сидит вальяжный человек, достаточно высокий. Во всяком случае, он производил впечатление высокого. Гладкое, толстоватое лицо. С такими глазами, бровями. Не важный, не солидный — а именно вальяжный... И гитара такому господину не должна подходить, но она у него выглядела как что-то очень изысканное.

И когда он пел живьем — это было сногшибательно. Записи, пластинки не передают этого впечатления. Пел не меньше часа. Мы пришли без магнитофона: у нас его просто не было... После концерта мы уходили, а близкие оставались, может, был стол...

Его смерть воспринималась как ужасное горе. Я хорошо помню это время: ребенок лежал в больнице почти год, не ходил в школу. И мы затеяли ремонт в квартире: врач сказал, что у дочери аллергия на все на свете, попробуйте обновить дом. И об этой беде — о смерти Галича — мы узнали во время ремонта...

Он был для нас очень важен. Самые глубокие песни. Потом — Бачурин. Еще нежно я относилась к Киму. А Высоцкий — нет. Для нас это было недостаточно серьезно...

КНИГИ

Я покупала «Жизнь животных», «Жизнь растений», считала, что в доме, где есть дети, такие книги должны быть. Много книг было по русскому языку: словари, грамматики. Я окончила отделение русского языка и литературы на филфаке, но чем дальше, тем больше я понимаю, как плохо знаю язык...

Нам сильно не хватало денег. По рождению ребенка давался год декретного отпуска, но оплачивали только два месяца. Я вышла на работу, когда Ольге было девять месяцев, потому что моя зарплата была 120 руб, а у мужа 83 руб. Он взял месяц отпуска и просидел его с ребенком, а в 10 месяцев мы отдали ее в ясли. Нельзя было жить на 83 рубля... То есть можно, конечно, — мы и жили, но было трудно.

И в тот период, когда мы были совсем нищие, начал выходить шеститомник «Памятники мирового искусства». И мы подписались. Система была такая: платишь за последний том (еще не вышедший) и ждешь. Вскоре выходит первый том, ты должен его выкупить. Потом второй. И так далее. А когда выходит шестой — то он идет «бесплатно». Большая радость...

БЛИЖНИЙ КРУГ

Мне казалось правильным, что ребенок в курсе наших дел. Задачей было вырастить приличного человека. Она нас быстро утешила. Специально мы ей ничего не объясняли. Как-то утром — на раздвинутой софе сохнут фотографии — вдруг звонят в дверь. Она подходит и видит, что это почему-то милиционер. Дочь быстро зовет меня, и пока я объясняюсь в дверях, чем-то накрывает фотографии. Ей было семь лет.

В Книжной палате у меня была подруга, которая говорила, что не поддерживает идеи идти с трехмесячным ребенком на Красную площадь на демонстрацию⁷³, потому что важнее, чтобы твоим детям не было несчастья, ребенок ни при чем.

Однажды в Книжной палате случились какие-то бытовые кражи, и на общем собрании было решено всех обыскать. Единожды. И я почувствовала себя плохо: мне надо было обязательно вынести то, что я по дороге на работу получила для пересъемки. А как вынести, если сумки будут смотреть? И моя подруга проделала это виртуозно: она положила мои мате-

риалы в коробку из-под торта, завязала, и сама пошла с ним: она видела, что я очень нервничаю. И торт никому не пришло в голову посмотреть. Кажется, шел 1971 год.

В 1983 году у кого-то забрали мои книжки и начали выяснять цепочку — я поняла, что на меня выйдут. Мне нужно было срочно куда-то деть всю литературу. И та же подруга сказала мне: естественно, я к тебе сейчас приеду. И мы вместе все вывезли.

БРОДСКИЙ

Бродский с Наташей Горбаневской приятельствовали. Во время своего первого отпуска в Книжной палате в 1961 году я поехала в Ленинград. И Наташа мне строго-настрого наказала повидаться с этим мальчиком. И я провела сколько-то времени в компании, куда входил мрачный и недовольный Бродский: у него была в то время совершенно несчастная любовь.

Я ему потом в Париже, в 1990 году, об этом напомнила, и он смеялся, потому что тоже что-то такое вспомнил. Мы тогда тоже провели вместе какое-то количество часов. Но я так волновалась, даже не думала, что буду так волноваться. Я знала и ценила много его стихов, его нобелевскую речь по привычке перепечатала на машинке.

Даже когда он обедал, или пил вино, или просто беседовал, весь этот треп хотелось запомнить наизусть. Цену слову мы знаем...

ИНЖЕНЕР

Фанталис Светлана Григорьевна, 1943 года рождения. В 1970—1980-е годы — старший инженер Всесоюзного научно-исследовательского института радиационной техники (ВНИИРТ).

Высоцкого я узнала как поэта только после его смерти. До этого я его не любила, потому что не любила блатные песни. Мы в детстве жили

в комнате в бараке, так что я знала об уголовниках без романтики. Хотя, конечно, пела их песни:

Как бы ни был мой приговор строг,
Я вернусь на родимый порог,
И, тоскуя по ласке твоей,
Я в окно постучу. Ча-ча-ча.

Эти песни нельзя было не петь, потому что нельзя было выделяться: везде и всегда существует метод забивания гвоздей, у кого шляпка торчит, тому ее быстрее снимают.

На следующий день после похорон Высоцкого у нас на работе вывесили огромную, склеенную из нескольких листов ватмана, стенгазету. Она заняла почти всю стену длинного коридора, в который выходили двери канцелярии, бухгалтерии, всех «главных» кабинетов. В газете были стихи Высоцкого и других людей, посвященные Высоцкому: вся страна тогда писала стихи. Фотографии Высоцкого из домашних архивов. Наш начальник, гэбист, Владимир Ильич, три дня ходил мимо, а потом все-таки сказал ребятам: «Ну ладно, хватит. Три дня повисело — и хватит. Снимайте».

На работе мы много говорили о книгах, о фильмах. Было много обязательного к прочтению, к просмотру. Например, нам звонили из Дубны, Обнинска и говорили, что у них пойдет фильм Тарковского. И тогда мы от работы заказывали автобус и ехали смотреть. И совершенно было не страшно.

Когда в «Новом мире» вышли «Мартовские иды» Торнтон Уайлдера, мой начальник подошел ко мне: «Ты читала?» — «Читала». — «Пойдем, поговорим...» И мы выходили и говорили об Уайлдере. Обсуждали. Я люблю Уайлдера, хотя он будто смотрит на нас с другой планеты...

Однажды на работе я выбросила в корзину для бумаг какие-то секретные данные. Это стало известно, заварилась каша, но начальник «отбил», и меня не наказали. Однако с тех пор к секретам близко не подпускали, и я занималась составлением аналитических отчетов по опубликованным источникам. Но я ухитрялась так составлять эти отчеты, что их тут же

засекречивали... Из почти несекретных источников я делала секретные выводы.

То же самое получалось с литературой. Мы переплетали журналы, читали книги. Помню, как читали книгу о поэзии Возрождения и спорили, не понимая, где там поэзия и где — Возрождение... Нам многое было навязано.

Мне стало страшно, когда я прочла «Историю Пугачевского бунта». И вдруг Пушкин очаровался Пугачевым в «Капитанской дочке». Получалось, что он мог подчиниться любому тирану... Пушкин — странная фигура в нашей культуре. Хотел очаровать царя, а тот после заметил: «Поэты на стол вспрыгивают». Гений простодушен, а Пушкин не был простодушным, он поверял алгеброй гармонию, когда писал, что «поэзия должна быть глуповата»...

Когда сын учился в школе, у меня всегда были конфликты с его учительницей литературы. Она писала ему замечания: «Старается выражать свои мысли, но они не оригинальны».

В нашей компании были филологи, журналисты. Мы говорили обо всем, и уровень наших разговоров был выше, чем уровень официальной критики, хотя я покупала и «Театр», и «Театральную жизнь», и «Вопросы литературы»... Не было критика, которому я бы полностью доверяла. Я читала и Туровскую, и Крымову, Рассадина... Но я с большим удовольствием прочту Германа о Тарковском, чем какого-нибудь «специалиста»...

Мы много спорили. Причем не только друг с другом, но и с Толстым, и с Достоевским... Достоевский может вызывать злобу своими бесконечными припадками... А вот с Буниным не о чем спорить, с ним согласен. Да кажется, что и у него не возникало потребности в диалоге, он был трибун.

Журнал «Москва» с «Мастером»⁷⁴ я выменяла в одной санаторной библиотеке на том Толстого. Переплела и всегда носила с собой.

«Доктора Живаго» мне дал один приятель. Предупредил: «Если у меня найдут, скажу: «Нашел на помойке», а если у тебя, скажи: «Нашла в авто-

бусе». А вообще было несколько формул «на всякий случай»: «Одна сволочь дала почитать» или «В почтовый ящик положили».

Страх был, разумеется, но как-то мы не попадались. Муж на работе переснял на фотопленку «Новый завет» и всем нашим друзьям сделал по копии.

А в транспорте у меня хватало ума не читать.

Однажды мне на одну ночь дали «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург. Я прочла и подумала: ведь человек писал — не боялся, значит, надо найти еще кого-то, кому до утра можно дать прочесть.

О наших соседях тогда я знала только, что они — евреи, и что у них приятные лица. И я позвонила им в дверь и протянула книгу: «Читайте!» Они к утру прочитали, вернули, а на следующий день звонок в дверь: они принесли мне «Реквием» Ахматовой.

Мы читали «ГУЛАГ», но гораздо более сильное впечатление на меня произвели рассказы Шаламова и книга Ефросиньи Керсновской «Наскальная живопись» — она в «Огоньке» печаталась⁷⁵.

Мы сопереживали. А сейчас я никому не могу сопереживать. Сейчас в телевизоре сидит человек, у него все карманы набиты истинами. И мне неинтересно.

У меня был приятель, который мог достать книгу на черном рынке. И вот я его однажды увидела на Кузнецком и закричала: «Сашка! Мне нужно то-то и то-то!» А он мне шипит: «Тише!» У них там конкуренция была сильная среди «жуков»⁷⁶, его даже били несколько раз... И тогда я кинулась к Саше на шею и стала нашептывать свой заказ. А подруга моя увидела это и изумилась: «Что ты ему уши гладишь?»

Социальный подтекст мы не ловили. Нас интересовали более значимые вещи, более важные «для души». И Войновича я не могу читать: есть вещи, которые — нельзя, и это надо чувствовать. На Великой Отечественной погибли миллионы...

Мы тянулись все прочесть, это было модно, было неудобно что-то не читать, не знать. Мы твердо знали, что те, кого запрещают, умнее и лучше

тех, кто запрещает. Был понятен уровень. А сейчас важно, кто что курит, у кого какая машина, а не кто что читает.

А тогда я читала все время. Придешь с работы, пьешь чай — читаешь, вечером уложишь всех спать — опять читаешь.

Я не была знакома ни с одним диссидентом, не читала «Метрополь»⁷⁷. Гораздо позже я прочла и Максимова, и Владимова — но мне это показалось низким уровнем прозы. Мы зачитывались Бёллем, Булгаковым, Уайлдером... Мы были счастливы: нас дома ждали те писатели, которые хотели с тобой разговаривать...

А театры я не любила. Помню, что ушла со спектакля «104 страницы про любовь»⁷⁸, все показалось очень неестественным.

На Восьмое марта мне муж подарил билет на Таганку на «Мастера»⁷⁹. И я ушла с первого отделения, это было невозможно смотреть. В фойе столкнулась с Любимовым. Он поинтересовался, почему я ухожу, и я наврала что-то про электричку, или про поезд... А многие считали, что на Таганке — свежий воздух...

Мы ходили в кино, интересовались этим. Например, внимательно читали книгу «Кино Великобритании». Кто сейчас стал бы это читать, кому это интересно? А тогда мы твердо знали десятку лучших кинорежиссеров: Феллини, Антониони, Куросава, Тарковский, Герман... А сейчас — кто? Только специалисты знают, наверное.

Когда я лежала в больнице, то написала письмо Андрею Тарковскому. О его фильмах, о том, что я думаю... И в конце оставила свой телефон.

И в тот день, когда меня выписали, не успела я войти в квартиру, как раздался телефонный звонок. «Алло, это Андрей Тарковский...» Я онемела от неожиданности. Он спросил: «Вам неудобно сейчас говорить? Мне перезвонить?» Я сказала: «Да».

Он потом перезвонил, и мы стали общаться.

Моя подруга, журналист, несколько раз брала интервью у Плисецкой, и ее удивила уверенность балерины в своей избранности. Но Плисецкая

не говорила глупостей. Она сказала подруге: «Закройте рот!» — «Как только смогу, обязательно это сделаю».

ИНЖЕНЕР

Гершензон Михаил Маркович, 1949 года рождения. В 1970 и 1980-е годы работал в Научно-исследовательском институте шинной промышленности (НИИШП).

В течение нескольких лет примерно раз в месяц, в выходные, мы с другом ездили в Тарусу. Там работал киоскером один мужик, кажется, он был инвалид: то ли хромал, то ли был очень сутулый, почти горбатый... Не помню. Но у него дома был шкаф с хорошими книгами — может, он их покупал у себя в киоске, может, имел возможность выписывать... А может, и читал... Мы с другом везли ему сосиски: три-пять килограммов, колбасу, кажется, масло... И меняли это на книги. Подходили к книжному шкафу, выбирали, что нравилось, и если он разрешал — забирали книги домой. Я у него взял лирику 30-х годов, Катаева...

У этого мужика было трое детей. Я тогда в первый раз увидел, как его младшая дочка вытащила сосиску, почистила от целлофана и съела — сырую! Может, она не видела никогда, как эти сосиски едят...

Ощущение от таких обменов было сложным и не самым приятным: непонятно, кто кого обманывал. Если судить по ценам черного рынка, то за эти книжки, наверное, можно было больше колбасы купить... Не знаю. Было неловко: мол, мы такие шустрые, забираем у человека хорошие книги, пользуемся тем, что ему семью кормить надо...

Я поступил в МЭИ в 1966 году. Со мной учился парень — профессиональный саксофонист, он до МЭИ закончил музучилище (а может, музыкальную школу). Он играл по вечерам в ресторанах, учеба ему тяжело давалась. Я спрашивал у него: зачем тебе технический вуз? А он отвечал:

«Гаранян же имеет высшее образование! Вот закончу МЭИ — и дальше буду спокойно заниматься музыкой».

На каждом факультете у нас висели стенгазеты, и в них были тексты песен Кукина, Городницкого, Визбора, Кима... И я бегал с факультета на факультет с тетрадкой и переписывал эти стихи.

ВЫСТАВКИ

Мы ездили занимать очередь на «Джоконду»⁸⁰ с приятелем: он — на мотоцикле, я — на первой электричке из Люберец. В начале седьмого мы уже стояли около музея, и где-то к двенадцати прошли. У нас с собой был бинокль, чтобы рассмотреть картину поподробнее: проходишь-то мимо картины быстро, и висит она не рядом, а в отдалении. Может, поэтому она не произвела на нас сильного впечатления.

А сильно поразила выставка из собрания Хаммера в Пушкинском⁸¹. Народ тоже очередь с ночи занимал, чтобы посмотреть. Хаммер тогда подарил Гойю Эрмитажу. А через несколько лет мы с женой поехали в Ленинград и видели эти работы Гойи. И никто не давится, чтобы поглядеть на них...

В таких очередях народ вел себя спокойно, разговаривали вполголоса. Кто-то со своим стульчиком приезжал... Часа два постоять на выставке — стандарт, нормально.

КНИГИ

Мы перепечатывали на машинках стихи из редких сборников, а после переплетали: Тарковского, Мандельштама, Бродского. Но перепечатывать было тяжело.

Можно было купить книги в магазинах, но для этого либо ты должен был там околачиваться целыми днями, чтобы не пропустить что-то стоящее (а это было невозможно, мы же работали), либо нужно было завести знакомства с продавцами.

А можно было поучаствовать в книгообмене: ты приносил в магазин свою книгу, которую хотел на что-нибудь обменять. Писал заявку, что именно ты хочешь. И дальше нужно что-то доплачивать в кассу: как будто ты что-

то продал в букинистический отдел, а потом там же купил другую книгу. А если не везло, то можно было позже забрать свою книгу, заплатив какие-то деньги за то, что она там лежала... Обыкновенная комиссия.

Около памятника Ивану Федорову был черный книжный рынок. Если продавцов оттуда гоняли, то книги можно было купить на Кузнецком мосту. В 1975 году вышел Булгаков, три романа: «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» и «Театральный роман». Стоила книга на черном рынке 40 рублей — бешеные деньги при окладе 110 рублей. А у нас как раз родилась дочь, и нам подарили деньги. Мы купили коляску, кровать, но еще оставалось.

Я спросил у одного мужика: есть Булгаков? — Есть, приходи завтра. Я еще потолкался там немного, и вдруг он меня подзывает и сует книгу.

На работе мы лабораторией подписывались на толстые журналы и читали их по очереди. А потом за обедом и на перекурах делились впечатлениями. Помню, бурно обсуждали роман Окуджавы «Бедный Абросимов»⁸², книгу Лебедева «Чаадаев»⁸³...

Я не читал книги по философии. Попробовал однажды честно прочитать Лосева. Но там странице на сороковой было сказано: если вы к этому моменту не поняли, что тут написано, то вам дальше читать не стоит. Ну не стоит — значит не стоит. И я закрыл книгу.

ЛЕТО, ОТПУСК, ГУЛАГ

В молодости я был уверен: мне повезло, раз я родился в СССР. В 1971 году мы поехали в Чехословакию и были там три недели. Прага мне понравилась, но во мне неожиданно проснулся какой-то квасной патриотизм: мол, ну и чего здесь хорошего... Может, я не мог себе много позволить тогда, и мне это давило на комплекс...

Но все это было до Солженицына. Летом, году в 1976-м, мы жили на даче, с ребенком. И нам дали прочесть ГУЛАГ: огромные типографские неразрезанные листы, на каждой стороне — 32 страницы. Чтобы прочесть, нужно было все время крутить эту простыню. Было страшно.

Нужно же было еще следить, чтобы никто не пришел, пока ты читаешь...

После этого с коммунизмом было покончено.

Я не собирался бороться. Казалось, что эту систему ничто не опрокинет, что это — навсегда. В начале 70-х вышел роман братьев Стругацких «Обитаемый остров», в котором была описана наша система. И было понятно, что система эта абсолютно устойчива изнутри, что нет сил, которые могут ее разрушить. А представить себе, что они наверху сами захотят модернизировать строй, было невозможно.

Было ясно, что если хочешь что-то изменить — нужно уезжать. Но жена не хотела. Мы ходили в театры, читали книги, ездили на экскурсии в разные города, на байдарках ходили...

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК И ВРАЧ-ПСИХИАТР

Сморгунова Елена Михайловна, 1937 года рождения. С 1959 по 1972 год — младший научный сотрудник Института русского языка Академии наук. С 1972 по 1978 год — старший научный сотрудник ВНИИ Классификации и кодирования информации (ВНИИКИ); с 1978 по 1992 год — ведущий научный сотрудник Института советского законодательства.

Фрейдин Юрий Львович, 1942 года рождения. С 1968 по 1992 год работал в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского.

Ю.Ф. Событиями были гастроли канадского, парижского, шведского балетов. Ночные стояния у касс Большого театра, очереди, как за мукой в сороковые-пятидесятые годы. Но все было очень организовано. Стояла честная балетоманская публика, от студентов до доцентов. Они были в курсе бесконечных историй Якобсон — Григорович⁸⁴, и друг друга знали: все встречались в тех очередях. Зимой это было особенно трогательно.

Е.С. А рядом жили наши знакомые, не балетоманы. И они говорили: ну вот, опять к нам придут греться...

Ю.Ф. Кассы Большого театра открывались утром, и нужно было к моменту открытия оказаться в очереди. А ехали издалека. Моя кузина, балетоманка, жила на Хорошевке. Еще знакомые ехали из Ростокино. На такси в четыре утра не поедешь: деньги нужны на билеты. Так что приходили часам к девяти-десяти вечера, после спектакля, и выстаивали всю ночь.

Если постоишь ночь, билеты, как правило, достаются.

КАЖДЫЙ ГОД, 31 ДЕКАБРЯ...

Ю.Ф. Было время, когда каждое 31 декабря в 19 часов Андрей Волконский и Даниил Шафран⁸⁵ играли в Малом зале Консерватории виолончельные и клавесинные сонаты Баха. Несколько лет подряд. На эти концерты приходила одна и та же публика, и каждый год шла одна и та же программа.

Е.С. И в основном, ходили мужчины, потому что женщины были дома и готовили праздник. Это было очень значимо — пойти в концерт 31 декабря.

Ю.Ф. Концерт кончается в девять часов. Волконский был неисполняемый авангардный композитор, репатриант, вернувшийся в Москву. Клавесин тогда было негде послушать: Майкапар был еще очень молоденький, Любимов только начинался... А Волконский играл на клавесине. Но Большой зал ему никогда не давали, да и Малый давали не ему, а Шафрану. Я вообще думаю, что и Малый-то давали только вечером 31 декабря. Волконский выступал в 1960-е годы в Гнесинском зале, и в начале 1970-х он уехал, слава богу.

ОБЩЕСТВО МЕЛОМАНОВ

Ю.Ф. Я был членом Общества меломанов. Туда не всякого принимали, надо было иметь «меломанские заслуги»: владеть чем-то, что представляло для общества интерес и что можно было представить публике. Принести пластинку, которой ни у кого нет, и дать всем прослушать, рассказать,

кто на пластинке. Например, у одной моей знакомой была редкая пластинка фламенко, а у почетного председателя общества хранилась потрясающая коллекция записей на магнитных лентах. Но оказалось, что качество лент было плохое, и со временем утрачивалась стабильность воспроизведения: ленты становились хрупкими, ломкими, плохо воспроизводимыми.

Никаких льгот у меломанов не было, но общество имело квоту при покупке пластинок. Иногда покупались импортные пластинки, с интересными записями: Армстронг, джаз, классика. Такие пластинки стоили дороже, чем магазинные, это называлось «глубокий импорт».

На Арбате был магазин «Советская музыка», и меломаны собирались в его недрах. Потом переместились в магазин Союза композиторов на Садовом кольце: общество каким-то боком состояло при Союзе.

ЖАРКОЕ ЛЕТО ВОСЬМИДЕСЯТОГО ГОДА

Ю.Ф. Совершенно потрясающая Москва. Пустая. Тихая, теплая, светлая, очень прибранная, усаженная цветами. Были слухи, что Москва закрыта, что людей без пропуска не пускают с вокзалов, что даже на электричках введен повышенный контроль, и «колбасных электричек» не было...

Е.С. Это когда весь перрон заполнен людьми с авоськами, и у каждого — батон колбасы...

Ю.Ф. Было много милиционеров, и много-много молодых тридцатилетних мужчин в серых брюках приятного цвета и белых или голубых рубашках. Они стояли на углах, на перекрестках, в переулках. В Москву тогда нагнали милицию со всей страны, был еще и призыв с производства. Призывались из Министерств, ведомств, из КБ. Им всем выдали курточки с олимпийской эмблемой.

Олимпиада была очень локальна. В Олимпийской деревне устроили молельни на все конфессии: там были и синагога, и церковь, и мечеть. Они функционировали только во время Олимпиады.

Е.С. Мы шли пешком в Андроников монастырь, где в храме был концерт старинной музыки. Мы шли по мосту, и никакого транспорта нам не встретилось, даже трамваи почему-то не ходили.

В городе совершенно не было детей. Все школы были предупреждены. Всех родителей опросили, где будет ребенок. На даче? Точно? Даете подписку? Или у бабушки? Или вам помочь?.. Путевки в пионерлагеря давали всем.

Ю.Ф. Время было очень суровое, хотя никто этого не понимал. Уже Андрея Дмитриевича⁸⁶ отправили в ссылку, уже Солженицына выслали. Андропов готовился в преемники. Они были научены 1957 годом и фестивалем, который был совершенно другим. Я помню толпы народа в городе, толпы местных московских людей, поймавших своего иностранца, и теперь ловивших человека, который мог бы им перевести, что этот иностранец говорит. Они ничего не понимали. Меня так же поймали: мне было 15 лет, я понимал по-французски: «Ты хоть что-нибудь понимаешь?» — «Да!» — «Переводи! Чего он говорит-то?..»

Такого братания в Олимпиаду не было.

И все поломала смерть Высоцкого, спутала все планы. Удержать людей было невозможно.

Шла колоссальная черная очередь. Молчаливая, организованная. Женщины в трауре, мужчины в костюмах. Этих «белых рубашечек» не было. Аналогичного общественного действия мы не помним. Был оттенок разрешенной скрепя зубы, оппозиционной акции. К тому же шла Олимпиада, людей нельзя было разгонять. И всем было понятно, что погубили, что не от хорошей жизни человек умер. Было ощущение, что потеряли своего. Радищевская улица была запружена, станция метро «Таганская-кольцевая» работала только на вход, а выход был с радиальной. Иначе все захлебнулось бы.

Актеры стояли в фойе в одежде из «10 дней...»⁸⁷, солдатики с ружьями. Они говорили: «Не волнуйтесь, все пройдут». Нельзя было возражать против этого, нельзя было «снять» этого часового, он был лишь «актер в костюме». Актеры плакали, полно милиции. Славина, Демидова — ручьем рыдали.

Народ вел себя пристойно, оград не сбивали. И когда попросили: «Пожалуйста, больше не входите, теперь только близкие и театр», — люди остановились, дальше не пошли. Стояли, ждали. Потом выносили.

Была громадная кавалькада автобусов. Десятка два или больше. Многие поехали на кладбище на метро. У кладбищенской ограды собралась колоссальная толпа...

Е.С. Было много женщин, которых я до этого не встречала на улице. Это были женщины пятидесяти-шестидесяти лет, благородно одетые, с ка-
меями. Они плакали. Было много мальчиков с гитарами.

КАК ПОПАСТЬ, ГДЕ НАЙТИ...

Е.С. В Институте русского языка я в профкоме заведовала культурной частью. Многие наши знакомые учились вместе с актерами в универси-
тете: в театре МГУ начинали Саввина, Демидова, оттуда началась Петру-
шевская... И все были знакомы. Легче было попасть на генеральные ре-
петиции, и мы часто ходили. Они начинались в 11 утра. К десяти мы при-
ходили на работу, к одиннадцати шли в театр, в 16 возвращались и сади-
лись работать.

И на репетиции оркестра в консерваторию можно было попасть днем,
только надо было узнать, во сколько начало. Консерватория — открытое
заведение. Юра надевал черный костюм, специально для этого куплен-
ный, и ботинки, и шел через артистический вход. Делаешь солидный
вид — и все. Надо только знать, как потом выйти в зал — там же лаби-
ринт...

А чтобы попасть на хороший спектакль, мы писали письмо от институ-
та: просим выдать, например, 24 билета. Никогда не было хамства, не
просили ни 40, ни 60 билетов. Сколько нужно — столько и писали. И фор-
мулировали: для актива института... Потом шли с этим письмом к админи-
стратору.

Ю.Ф. Кабинет администратора Большого зала Консерватории осаж-
дался перед концертами, и он, как правило, подписывал входные. Сту-
денты слушали музыку стоя.

Е.С. До 1972 года к нам в институт приходили Окуджава, Вознесен-
ский. Это было удивительное время: мы даже собирали им крошечные
деньги... Местком еще выделял сколько-то на оформление зала, на цве-
ты. Я получала зарплату 72 руб. в месяц: младший научный... И Бархуда-
ров, автор учебника,⁸⁸ замечательный, говорил: «А зачем вам больше-
то? Ну я каждый день за обедом коньяк пью. А вам-то зачем?»

Нам хватало денег. Книжки мы покупали, вся новая поэзия, которая
выходила, у нас была. Книга стоила 1руб. 25 коп. Вопрос был только

в том, чтоб достать. Том большой серии «Библиотеки поэта» стоил 2 руб. 40 коп, 1 руб. 80 коп. Иногда покупали книги и на черном рынке, но там они стоили от 25 рублей.

Ю.Ф. Интеллигентная публика не ходила на рынок, все доставали через «жуков». Мы говорили человеку, у которого был знакомый «жук», что, мол, нужна такая-то книга. Но так покупали очень мало.

Е.С. Я так задорого купила книгу об изразцах... Мы узнавали, в каком магазине и когда будут продавать.

Ю.Ф. В 1967 году вышел «Разговор о Данте» Мандельштама. Колоссально. До этого никакой книжки Мандельштама не выходило, были публикации в журналах в Воронеже, в Тифлисе. И вдруг — книжка.

Мы позвонили в издательство и узнали, в какой магазин она поступит. Отправились туда. Это оказалась тоненькая брошюрочка. Мы купили по 20 штук. Потом еще недельку ее можно было там купить, а потом все.

Е.С. Все книжки были маленькие, тоненькие. Кто-то шел и покупал сразу 20—25 экз. Я помню, пришел знакомый и сказал: продаются «Тарусские страницы»⁸⁹, иди купи. А я в этот день не могла: была срочная работа. На следующий день пошла — уже не было. И у всех была эта книжка, а у меня нет.

Ю.Ф. Книжный рынок был в Столешниковом переулке. Прекрасные букинистические магазины — на Арбате, в снесенном доме около Политехнического музея. Но были тома, которые и туда не попадали: Библия, например.

Е.С. В 1963 году мы узнали, что патриархия выпускает Библию. Толстая черная книжка. И мы составили письмо, что для наших словарей древнерусского языка XI—XVII веков нужна Библия для проверки цитат. Партбюро очень внимательно рассмотрело нашу заявку, и мы получили ровно столько, сколько заказывали. А больше уже не было возможности эту книгу ни достать, ни купить. Отдел современного русского языка не смог доказать, что им для работы нужна Библия.

ДИССИДЕНТЫ

Ю.Ф. Наташа Горбаневская, с которой я дружил с 1960 года, после 1968-го была помещена на короткое время в психиатрическую больницу

им. Кащенко. Я в этой больнице никогда не работал, но по профессиональным делам бывал там довольно часто.

Я уже не помню, кто мне сказал, но я узнал — и, пользуясь белым халатом и своей личной гранкой⁹⁰, пришел к ней вечером. Она была в обычном отделении, никаких ментов и гебешников, мне ее спокойно позвали. Я спросил: «Ну что, тебя забрать?» Я готов был забрать ее домой. Но она сказала: «Да нет, меня завтра выпустят».

Конечно, это была лихая акция, но в ней не было ничего противозаконного. Наташу Горбаневскую исключили из процесса, как кормящую мать. Мы не были революционерами-подпольщиками и не собирались переходить на нелегальное положение.

Когда она была в Казани, ей давали психотропные препараты и не давали корректоров⁹¹. И я ей посылал эти корректоры из Москвы. Не знаю, доходили ли до нее эти корректоры... Ей могли ничего не передавать и не сообщать. Но никакой врачебный консилиум не согласился бы с тем, что нужно давать психотропные без корректоров. Подобное можно было объяснить только бедностью или невозможностью приобрести лекарства. Так вот, я высылаю — и заткнитесь.

Для меня не было новостью существование карательной психиатрии. Я слушал радио, был знаком и дружен с Софьей Васильевной Каллистратовой⁹². Помню дело Ехимовича — был такой председатель колхоза в Прибалтике, организовал прибыльный колхоз, его пытались подвергнуть психиатрической экспертизе. Потом была экспертиза Петра Григоренко⁹³, а потом это стало рутиной.

Было понятно, чего бояться, за что сажают, за что выгоняют с работы. И за что не выгоняют. Каждый знал свой край.

С работы (не со всякой) выгоняли за подписание писем, если потом эти письма были опубликованы. Сажали за распространение материалов, было известно, что сколько стоит. Дороже всего стоил «Архипелаг». Если ночью тихонько все читаешь, и никто этого не знает, — не выгоняют. Но ты все равно боишься.

За МХГ сажали, за «Инициативную группу» и фонд Солженицына⁹⁴ — сажали. За редактирование и составление «Хроники»⁹⁵ — сажали.

Сажали тех, кто себя объявлял. Но было много людей, которые принимали участие во всех этих делах, но которые были не готовы к таким жертвам.

Е.С. Людям, которые себя объявляли, нужно было очень много людей, которые были неизвестны. Без них невозможно было ничего сделать⁹⁶.

Ю.Ф. Правозащитники были членским билетом всей интеллигенции в целом. Достоевский писал, что если на Страшном суде спросят: «Что ты хорошего сделало, человечество?» — оно предъявит Дон-Кихота. Круг сочувствующих правозащитникам был чрезвычайно велик, и сами правозащитники заботились о том, чтобы сочувствующие не стали жертвами. У кого дома дети, у кого — родители, внуки...

Е.С. Все были порядочные люди, и все были свои. И никаких «лес рубят — щепки летят», ни для кого друзья не были щепками.

Ю.Ф. Как не было принципа «Создам воронку, всех затяну». Это было исключено. Можно было, не рискуя, пойти пятого декабря⁹⁷ на Пушкинскую площадь: максимум, вас бы переписали в милиции. Мы приходили и стояли без шапки. Нужно было снять шапку, и сразу становилось понятно, что вы не просто мимо проходите или ждете кого-нибудь. Или 30 ноября, в день политзаключенных. Это был Кронидов день⁹⁸.

Можно было прийти к друзьям на обыск. Туда всех пускали, но никого не выпускали. И можно было прийти и пробыть там и пять, и десять часов, пока не кончится обыск. Люди передавали информацию по цепочке и приходили поддержать. На кухне пили чай или чего покрепче, или на блюдали, чтобы ничего не подсунули: тогда могли валюту подложить.

Е.С. Были удивительные, особенные дети. Мы знаем, как девочка пяти лет, дочка, попросилась погулять на улицу и пошла по разным знакомым: «Не приходите к нам, у нас обыск». — «Тебя послали?» — «Нет, я сама». — «Ну зайди, чай попей». — «Нет, мне надо еще к другим».

Ю.Ф. Можно было собирать деньги на политзаключенных. Знали людей, которым можно было отдать. Но если узнает партбюро, то это было нехорошо.

Е.С. Можно было писать в лагеря. Оттуда можно было писать в разрешенные дни (раз в две недели, в месяц). Но туда можно было писать.

СТЫД

Ю.Ф. Чувства национальной гордости я не испытывал никогда. Я помню 1949 год⁹⁹, и национальная гордость была вытравлена во мне напроць. Очень важно, с чем ты вырос с детства.

Было сильнейшее чувство национального стыда. Когда, например, на первом конкурсе им. Чайковского скрипачу Климову дают первую премию, а между Климовым и Клиберном есть две общие черты: оба на «К» и оба не умеют играть на скрипке... А ведь там принимал участие великий румынский скрипач Штефан Руха... Но они сказали: если уж мы даем Клиберну за фортепьяно, то уж скрипку мы не можем дать никому другому. Только советскому...

ЭМИГРАЦИЯ

Е.С. Я помню, как уезжал Юлиус Телесин¹⁰⁰ — первым из наших знакомых. Это были не проводы, это были похороны. Он будто уезжал на тот свет, только что живой. Мы знали, что больше никогда его не увидим.

Люди эмигрировали, когда ставился вопрос: в лагерь или на Запад. Теперь они говорят: «Я уехал, потому что мне грозила психушка. Если бы лагерь — я бы отсидел и вышел...»

Ю.Ф. Можно было получить вызов и никуда его не носить — тогда это оставалось без последствий. Но как только понес — все. Независимо от того, разрешат тебе уехать или нет, ты, в худшем случае, лишаешься работы, а в лучшем — карьеры. И нет гарантий, что тебе разрешат уехать.

Перед тем, как подать просьбу о выезде, надо было сначала уйти с работы (чтобы не подводить свое начальство). Уйти отовсюду — а потом тебе не разрешают, и ты десять лет живешь «в отказе».

ЧУЖАЯ КУЛЬТУРА

Ю.Ф. Все новые иностранные романы я ходил читать в Библиотеку иностранной литературы: они туда быстро поступали. Потрясающие альбомы по живописи продавались в магазине «Дружба» на ул. Горького, кажется, четыре рубля стоили. Постоянные посетители «Иностранки» ходили на закрытые просмотры. Мы видели Уорхолла, Полока...

Е.С. В Доме дружбы на Калининском проходили выставки книг, и однажды были выставлены все книги издательства «Скерра». И я ходила каждый день и смотрела, сегодня — одну книгу, завтра — другую.

Ю.Ф. Культурный железный занавес как порвался в 1957 году, выставкой, приуроченной к фестивалю, так его и не залатали.

Е.С. А потом были выставки в Сокольниках: французская, итальянская, американская. На них всех были книжные отделы. Можно было приходить и подолгу смотреть. А если очень хочешь и решаешься — можно было книжку выпросить. В ответ говорили: сейчас не можем, придите в день закрытия. Они ничего не увозили назад, все, что привозилось на выставку, раздавали. Были отделы одежды, обуви, мебели... И тоже все раздавали. И книги раздавали.

Ю.Ф. Хочешь Беккета — читай Беккета. Ионеско. Я перевел «Лысую певичку» в 1964 году и читал ее солдатам в армии на культурном мероприятии. Присутствовал политрук. Он ничего не понял, но одобрил: народ смеется, все заняты, говорят о литературе. К тому же Ионеско — румын, «наш».

Е.С. Многие альбомы и книги привозили из-за границы. Можно было прийти в гости, посидеть и посмотреть, что хочешь. А многие сдавали привезенные книги в комиссионный. На улице Качалова был прекрасный магазин, там можно было и купить книгу, и просто посмотреть, полистать.

Ю.Ф. Был магазин французской книги на ул. Веснина. Все романы, получившие Гонкуровскую премию, можно было купить. Так что если ты переживал по поводу культурной отсталости, то не очень страшным усилием в Москве все можно было достать. А если ты не знал, что есть еще и западная культура, то и не очень грустил.

Е.С. Илья Авербах рассказывал, как он приехал в Грецию, кажется, в 1977 году, его пригласил какой-то киномагнат. И его спросили, что вам показать: острова? И Авербах ответил: «Нет, покажите мне кино». И всю неделю смотрел фильмы.

Мы ходили смотреть фильмы в «Иллюзион», в клубы, в Дом литераторов, в ЦДРИ. Во время фестиваля шведского кино смотрели Бергмана. На Московских кинофестивалях ходили на утренний шестичасовой сеанс: на вечерние и дневные невозможно было достать билеты. Или с 12-ти часов ночи до двух — в «Ударник». Многие специально брали на время фестивалей отпуск или отгулы и ходили всю неделю в кино.

ТАРКОВСКИЙ

Е.С. Кажется, в 1967 году Андрей Тарковский дал нам свою пленку, мы договорились с кинотеатром, заплатили аренду, и устроили просмотр. Картина тогда называлась «Страсти по Андрею». Это плохо кончилось. Потом на парткоме мне высказывали: мол, зачем же я показала такой отвратительный фильм, там же все время идет дождь!.. Ну как тебе не стыдно, Лена, это такая ужасная картина! Весь партком ходил смотреть, с мужьями, с тещами, а потом устроили разнос. Хотя почему они должны быть последовательны?..

Чтобы наказать меня за организацию просмотра, они решили подключить ОБХСС. И случилось чудо. Не буду всего рассказывать — не потому, что не помню, я все хорошо помню... Мы продавали билеты на фильм от профкома, с печатью, никто чужой не мог пройти. Мы платили за зал, и мы платили Тарковскому, но об этом никто не знал. И когда стали проверять, то сумма, полученная от выручки билетов, проданных сотрудникам института, и та сумма, которую мы уплатили в кинотеатр, совпала до 40 коп. Это было абсолютное чудо. Ведь кроме сотрудников, по билетам прошли друзья сотрудников, родственники членов парткома и т. д. Как совпало — непонятно. Но именно поэтому вся история не кончилась уголовным преследованием.

А началось с того, что на показе видели людей, за которыми всегда ходили. Видимо, поступил звоночек...

Показ был в клубе им. Серафимовича. До последней минуты мы не знали, пойдет фильм или нет. И когда началось — мы выдохнули: «А-а-а... идет».

СИЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ю.Ф. «Джоконда»¹⁰¹, выставка Дрезденской галереи¹⁰². С середины шестидесятых в Пушкинском музее начали устраивать концерты в залах.

Е.С. Да, я впервые слушала сиртаки в греческом зале.

Ю.Ф. В 1964 году приехала Венская опера. Я не попал на Вагнера, но попал на «Женитьбу». Это нечто. Ты слышишь вокальные ансамбли, кото-

рых много. Это квартеты, квинтеты, секстеты. Потрясающе. В том же году приезжал «Ла Скала». Весь город звенел итальянской оперой, спектакли транслировались. Был сентябрь, и окна были открыты...

Кажется, в июне 1973 года в Москву приезжал Шагал. Я попал на открытие его выставки, видел самого, под ручку с Екатериной Алексеевной Фурцевой. Они тогда вытащили все картины из запасников и повесили, как будто они там всегда висят. А мы пришли — и впервые их увидели. А Шагал решил, будто его работы висят в Третьяковке в постоянной экспозиции...

Е.С. Да, Шагал в Москве, Шагал, который ходит на своих ногах... Помню выставку в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ, с Рабиным. Которая потом была тракторная¹⁰³.

Ю.Ф. Началось все с музея Маяковского, где стали выставлять русский авангард. Потом была выставка «Бубнового валета» в Русском музее в Ленинграде. В то время поехать на один день в Эрмитаж было обычаем. Четыре рубля стоил студенческий билет на поезд, а у нас всех были студенческие. Приезжаешь в восемь утра, и вечером уезжаешь в те же восемь. В Абрамцево еще ездили на выставку «Бубнового валета».

Мы были на выставке на ул. Вавилова. Там было четыре зала, выставлялся М. Иванов, еще кто-то... А последний зал был отдан Вейсбергу¹⁰⁴. И помню, как мужчина привел на выставку своего мальчика, лет 10—12. И мальчик одно смотрит, другое, папа тянет его, но не дергает. Подводит к залу Вейсберга: «А теперь смотри».

Мы ходили на регулярные весенние выставки МОСХа на Кузнецком и все время ждали: будут картины Вейсберга или нет.

Е.С. И я водила своих знакомых на эти выставки именно на Вейсберга, так же подводила: «А теперь смотрите».

Ю.Ф. И в музыке были потрясения. Помню, в Москве давал два концерта Глен Гульд¹⁰⁵, играл Баха. На первом концерте первое отделение было полупустым, на втором зал наполнился. Люди звонили друзьям в антракте: «Приходите! Срочно!» И на втором концерте уже стояла милиция: так много было желающих попасть...

ИНЖЕНЕР

Шпигель Любовь Иосифовна, 1946 года рождения. В 1970—1980-е годы работала в Московском научно-исследовательском институте типового и экспериментального проектирования (МНИИТЭП).

Жизнь шла отдельно от искусства. Может, меня бы искусство и потрясало, если б у меня не было впечатлений от папиных рассказов.

ОТЕЦ

Папу арестовали зимой 1937 года, он был директором завода в Минске. Но он ничего не подписал, никаких признаний. Вскоре сняли Ежова и вместо него поставили Берию. Летом 1938-го отца отпустили, и он шел домой через весь Минск в зимнем пальто и в шапке. Его даже восстановили на работе, и он снова стал директором завода. Человек в обкоме спросил его: «Что, обижаешься на партию?» — «Нет». А через две недели этого обкомовца расстреляли.

На фронт отец ушел из Минска в 1941 году, на укрепление командного состава армии, и закончил войну в Кенигсберге. Семья — сестра, жена, две дочки — остались в Минске и погибли в немецком гетто. Придя с фронта и узнав, что семьи нет, дом разрушен, отец не смог оставаться в Минске и переехал жить к брату, в Москву. Там он познакомился с мамой.

Когда я родилась, маме было 40 лет, а папе — 60. В день, когда я родилась, отец пришел к брату: «Теперь я не один».

В разгар борьбы с космополитами у отца на работе начались неприятности. Я пришла из детского сада и заявила, что все евреи плохие. И тогда отец посадил меня к себе на колени и сказал: «Будем разговаривать». Мама спросила: «Может, не надо ей ничего этого знать — девочке еще жить?..» Но папа сказал: «Пусть знает, кто она и чего ей еще можно ждать в этой стране». Так что с самого раннего детства я знала, что я — еврейка, и очень гордилась этим.

Отец прошел тюрьму и две войны. Он уже ничего не боялся.

Когда в 1975 году у него родился внук, папа зашел в комнату, где стояла детская кроватка, и попросил меня выйти. Он долго что-то рассказывал грудному Сашке. И когда вышел из комнаты, сказал: «Теперь я могу уходить». Вскоре отца не стало.

Книжный шкаф заполнял жизнь. Главное о жизни сказано в культуре, это точно. А социальный подтекст я нигде не искала. Что мне искать, когда у меня папа сидел? Меня тошнило от социального подтекста.

Отец говорил мне, какие книги читать, а какие — не стоит. Я читала Толстого, Куприна, Вересаева, Фейхтвангера. Кнут Гамсун, Уитмен, Лонгфелло... А Достоевского — нет. Папа говорил, что у Достоевского — постоянный надлом. И до сих пор, когда начинаю его читать, мне становится не по себе, как будто я разговариваю с нездоровым человеком.

А когда на дачу ездили, в электричке читала Джека Лондона. Меня пихают — а мне все равно, я на Аляске.

Солженицына папа читал, получил от приятеля, который отсидел 25 лет. Но они скептически относились к Солженицыну, роняли иногда: «Не все так». Говорили, что Солженицын — литератор. Но вообще они не любили разговаривать на эту тему.

Помню, папа дал мне Арцыбашева, и я на каком-то комсомольском собрании стала говорить о свободной любви. Мне было 15, папе — 75, и его вызвали в школу.

Журналы было сложно выписать: в отделе 50 человек тянули жребий, разыгрывалась подписка на три журнала. И если тебе доставался один журнал, то участвовать в розыгрыше следующего ты уже не имел права. Та же история была с заказами с колбасой и селедкой. Сплошные нервы.

Но журналы мы брали почитать у приятелей. В июле 1967 года папа сказал мне: «Появилась хорошая вещь, постарайся достать журнал «Москва» — там «Мастер и Маргарита». У меня было летом свободное время, я не поехала на дачу и ходила читать в читальный зал. Но поняла, что это — «надо мной». Я как до краешка дотронулась. Я люблю книги перечитывать, чтобы на любой странице открыть — и радоваться, а здесь я испугалась и не смогла перечитать. Мне показалось, что это нельзя пе-

речитывать, это не может превратиться в домашнюю радость, вроде любимых кастрюлек.

В театры мы ходили, хотя билеты безумно сложно доставались. С билетами было как с продуктами: чтобы купить приличное мясо, надо было вступать в какие-то отношения с мясником, а я не могла этого делать, и всегда стояла в очередях. Но с билетами «переступала» через себя и заводила знакомства в кассах, в театральных ларьках или даже в самом театре. Я очень любила музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, папа доставал пару раз билеты в Большой, и на Таганку мы с ним ходили. Там у папы была приятельница — завлит.

Моя самая любимая актриса была Вера Николаевна Пашенная, крупная женщина, с насыщенным, полным голосом. Когда она выходила на сцену, закрывала собой все. Рядом работали хорошие актеры — но я их не замечала, видела только ее.

С цветами в театр я не ходила — мне не приходило это в голову. Достаточно того, что я последняя уходила. Папа говорил мне: «Ну пойдём!»

Последний спектакль, на который мы пошли с папой, был «Соло для часов с боем»¹⁰⁶. И я только в театре поняла, что могу их всех потерять... И папа угадал, что со мной происходит, и сказал: «Знаешь, Люб, это тяжело — но это же все естественно. И к этому надо подготовиться...»

Иногда папа доставал билеты на очень редкие спектакли. Помню, мы попали на «Гамлета» с англичанами¹⁰⁷ и на «Ла Скалу»¹⁰⁸...

У меня не возникало ощущения культурной изолированности. Пусть я не попадала на живые концерты — но ведь у нас было много хороших записей классической музыки, и всегда под рукой была зарубежная классическая литература: Шекспир, Бомарше...

А Армстронг и Азнавур у нас были записаны «на костях»¹⁰⁹...

Высоцкого я однажды видела «живьем». Сидела в литчасти театра, вдруг открывается дверь, и входит такой, с квадратным подбородком.

Меня пихают: «Ты что, это же Высоцкий!» Ну и что? Я не могла сказать, что его песни были «моими». Моя музыка — это Галич, или

А на Чистых прудах
Лебедь белый плывет,
Отвлекая вагоновожатых...

Тарковского мы обязательно смотрели — о нем говорили. Но и это не мое. Для его фильмов другой настрой нужен. Мое кино — это Жан Габен. Или Джигарханян. Страшно люблю этих грубых мужиков, в них столько силы, шарма.

О ЧУВСТВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ

Чувство национальной гордости во мне было всегда. С пяти лет я знала, что я — еврейка, и гордилась этим.

А позор? Позором была Чехословакия, у папы все внутри кипело. И советская политика во время шестидневной войны, когда на Израиль навалились арабы. После папа мне с гордостью говорил: «Смотри, наши-то танки уже у Каира!», — разумеется, под «нашими» имелись в виду израильтяне.

Я всегда боялась, что на работе или где-нибудь мне скажут что-то о евреях, и мне нужно будет что-то делать в ответ. У меня, как у отца, никогда не было чувства самосохранения, и я боялась своей реакции. Однажды в детстве один мальчик назвал меня жидовкой — так я его догнала и жестоко с ним подралась.

А отец с матерью как-то шли по Малой Грузинской, и какой-то пьяный кричал, что евреи не воевали. Папа схватил его, вцепился в него, как клещами, дотащил до первого милиционера — и швырнул на тротуар: «Ничтожество! Это евреи не воевали?»

Но об эмиграции мы никогда не думали. Отец говорил, что в России полно воров и жуликов, но уезжать ему не хотелось, это была его страна. Он говорил, что мерзавцы приходят и уходят, но народ и страна в этом не виноваты.

УЧЕНЫЙ-ДИАЛЕКТОЛОГ, ЛИНГВИСТ

Касаткин Леонид Леонидович, 1926 года рождения. Диалектолог, филолог, лингвист. В 1970—1980-е годы работал в Институте русского языка Академии наук, в Высшей школе профсоюзов, Государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина.

В 1956 году у меня, сына врагов народа, появилась возможность поступить в аспирантуру. И я поступил в аспирантуру Института русского языка Академии наук.

Атмосфера в институте была замечательная. Меня выбрали председателем месткома. И на первом же собрании я выступил и заявил, что основная наша задача — защищать права сотрудников от администрации. Для них это было поразительно. Профсоюзы были «школой коммунизма», и чтобы профсоюзы выступали против дирекции... Это был нонсенс.

У нас в месткоме работали очень хорошие люди. Мы приглашали к нам выступать Юлия Кима, Булата Окуджаву, Юрия Визбора, Михаила Ножкина. Все их концерты записывались на пленки, потом мы давали их слушать друзьям, даже посылали в другие города. Мы были диалектологи, и у нас были «Репортеры» — довольно компактные магнитофоны.

В Институте была относительная духовная свобода, у нас работало много «подписантов». И те, кого мы приглашали, знали, к кому идут. Я помню, Ножкин попросил: «Выключите магнитофон», — и спел «Пилигримов» на стихи Бродского. А Бродский в то время был в ссылке.

В Институте был даже Солженицын, кажется, в 1967 году. За ним уже следили, но мы его привели какими-то сложными путями, уходя от слежки... Он пришел в маленькую комнатку, в которой сидело немного человек. Меня любили люди из этого отдела и тоже пригласили на встречу. Я взял с собой фотоаппарат и снимал Солженицына. Потом многим отпечатал эти фотографии. Он читал свои «Крохотки». Его тоже записывали на пленку.

Конечно, впоследствии в партбюро и в КГБ узнали об этой встрече, выяснилось, что вели запись. И партбюро вынесло постановление: пленку уничтожить. Была создана комиссия, и вскоре во дворе Института эту

пленку торжественно сожгли. Но к счастью, ее успели скопировать, и копия хранилась дома у одной нашей сотрудницы, под страшным секретом.

ПИСЬМА

Среди наших сотрудников были люди, подписавшие в 1965 году протест против суда над Даниэлем и Синявским¹¹⁰. Но директором института тогда был Виктор Владимирович Виноградов¹¹¹, человек, который сам в тридцатые годы был арестован по глупому политическому обвинению. Его сослали, но после ссылки он вернулся и стал академиком. Сталин сделал его директором этого института... Но Виноградов-то все помнил...

И когда Виноградова вместе с институтским секретарем партбюро вызвали в ЦК и сообщили, что сотрудники института подписали то-то и то-то, Виноградов всплеснул руками и воскликнул: «Батюшки, да я же теперь ничего не смогу с ними сделать! Ведь если я их выгону с работы, мне скажут, что я за это их выгнал!» Он сыграл. А работник ЦК «проглотил». И действительно, с «подписантами» ничего не было. Вернее, их не выгнали с работы.

Через некоторое время одного из подписантов, Юрия Апресяна,¹¹² пригласили в Польшу для выступления. Понадобилась положительная характеристика с места работы. Отдел, конечно, написал ему характеристику, мы в местком ее не только утвердили, но еще и добавили несколько хороших слов. Но члены партбюро отказались эту характеристику подписать. Не все, конечно. Например, в партбюро был институтский плотник, член партии. Он был введен в партком как представитель рабочего класса. Так вот он был «за». Но секретарь партбюро сказал: даже если вы все проголосуете «за», я все равно не подпишу эту характеристику. В результате Апресян в Польшу не поехал.

Мы подписали еще целый ряд писем. Например, был процесс Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой¹¹³. Мы — тринадцать или четырнадцать человек — написали протест. Нас вызывали на комиссию, которая состояла из партбюро, профкома, дирекции, еще сидел человек из райкома партии и кагебешник. Они вызывали нас по одному и задава-

ли одни и те же вопросы, например: почему вы считаете, что процесс — неправильный. Или: кто вам дал подписать это письмо?

Когда меня об этом спросили, я даже руками развел: ну что вы, ну за чем вы такие вопросы задаете... Кто! Какая разница — кто?..

Но тогда нам ничего не было. Откат от хрущевской оттепели только-только начинался, и они еще не знали, что с нами делать.

Письмо протеста подписывают очень много людей. К нам попадает экземпляр этого письма, мы подписываемся. В других институтах подписывают другие экземпляры этого же письма. В конце концов письмо как-то попадает за границу. А кто-то сводит все подписи в один список. Кто — не знаю. Может, ГБ...

ВЕНГРИЯ

В 1956 году советские войска вошли в Венгрию. У нас в это время продавались иностранные газеты: польские, югославские. И я регулярно покупал их в киоске филологического факультета МГУ. Газет этих было очень мало, и бывало, мы часами ждали, пока их привезут.

Я читал польские «Штандар млодых» и «Трибуна людю», югославские «Политику» и «Борбу»: они очень подробно описывали, что именно там происходило. Из этих газет я узнал, что когда наши ввели войска, то правительство Имре Надя скрылось в американском посольстве. И американцы договорились с нашими, что советские войска пропустят автобус с членами венгерского правительства в Югославию. Но как только автобус выехал из посольства, его обступили советские танки, и всех арестовали. Потом Имре Надь был расстрелян. Для меня эти подробности были шоком.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Я — лингвист, ученый, и для меня именно это всегда было главным в жизни. Я очень люблю свою специальность, поэтому не стал профессиональным диссидентом. Хотя я был знаком со многими из них, помогал им, но сам почти не участвовал в этом движении.

Утром, выходя из дома, я услышал, что наши ввели войска в Чехословакию. Это было 21 августа 1968 года.

В тот день я ехал на суд Анатолия Марченко¹¹⁴. У нас в аспирантуре училась Лариса Богораз¹¹⁵. Она жила в Подмоскowie, и Марченко на несколько часов приехал к Ларисе. Его тут же арестовали и судили за нарушение паспортного режима. Марченко тогда дали три года, но потом, как известно, еще добавили, еще, еще — так он и погиб.

А 23 августа у нас в институте, как и везде, устраивали митинги в защиту этой акции советского правительства. Я был в этот день в институте, и когда сказали, что через час или через два у нас будет митинг, то я сразу про себя понял: «Ну вот, и до меня дошло. Дальше невозможно быть в стороне. Не могу больше молчать».

У нас в институте в это время работал Константин Бабицкий¹¹⁶. Мы с ним дружили. И перед собранием мы встретились: как быть? Он сказал: «Я обязательно пойду и выступлю». Я кивнул: «И я тоже».

Сначала выступали люди, которые говорили, как правильно, что наши вошли туда, мол, туда американцы собирались... Бог знает что несли.

Костя вышел и сказал: «Родина — мать, ее не выбирают, но сегодня мне стыдно, что я — гражданин Советского Союза». И сел на место. Молчание в зале, потом возмущение... Через некоторое время выступил я.

Собрание вел замдиректора института, человек, присланный из ЦК. Он не мог запретить выйти, тем более он не знал, что я собираюсь говорить: я был председателем месткома, общественным деятелем. А я вышел и сказал, что, с моей точки зрения, эта акция — политическая ошибка нашего правительства. Я говорил о том, что Чехословакия была одной из самых близких нам стран, и чехи относились к русским с любовью, с огромной теплотой. Что эта акция приведет к тому, что они изменят свое отношение. Кроме того, я сказал, что эта акция не верна ни с моральной, ни с юридической стороны, потому что правительство Чехословакии не просило ввода войск, просьба о вводе войск была высказана в каком-то письме, неизвестно кем подписанным. Советское правительство не имело права воспользоваться этим письмом и ввести войска вопреки мнению чешского коммунистического правительства.

Помню, выступала еще одна женщина. Она не говорила, что она — против. Но сказала, что ее не убеждают статьи в наших газетах, поэтому она не может быть ни «против», ни «за».

Потом было голосование, и «против» голосовали Костя Бабицкий, я и эта женщина. Еще двое воздержались. Но многие — я видел — не голосовали вообще. А многие вообще не пошли на этот митинг, убежали: голосовать «за» было невозможно, а «против» — опасно.

Через два дня Костя Бабицкий вышел с друзьями на Красную площадь¹¹⁷.

Я был готов ко всему. К аресту, к лагерю. Но я уже не мог терпеть эту ложь, это насилие. У каждого человека есть предел. Я всю жизнь терпел эту систему, эти издевательства. Но тут я почувствовал, что моему терпению пришел конец.

СУДЬБА

Мой отец был дворянин, офицер. Он был художник, учился в Петербурге в Художественном училище Штиглица, но когда началась Первая мировая война, его взяли на фронт артиллеристом. В 1920 или 1921 году он уехал в Читу, где в то время образовалось правительство Дальневосточной республики, и был там товарищем министра просвещения. Когда Красная армия вошла в Дальневосточную республику, то членам правительства было заявлено, что они высылаются в Советскую Россию. Но высылка — не арест...

Их посадили в вагон, и поезд двинулся в Советскую Россию. Но как только эшелон пересек границу, в вагон вошли красноармейцы, и дальше все эти люди ехали уже по этапу на Соловки. Отец попал на Соловки в 1923 году. И там встретился с моей матерью.

А мать жила в Одессе, училась в Одесской консерватории, и у нее собиралась молодежная компания. Может, и не особенно политическая, но люди были молодые, всем лет по двадцать, и наверняка велись свободолюбивые разговоры... Маму вызвали в ЧК и сказали, что она должна быть осведомителем. Мать в очень грубой форме отказала.

Через некоторое время к ней пришли с обыском. Мама успела сунуть какие-то брошюры под простыню своей матери, которая была парали-

зована. И те, кто обыскивал, ничего не нашли, однако мать все равно арестовали и сослали на Соловки. Может, за антисоветскую деятельность, может, за недоносительство...

Так была сломана жизнь и отца, и матери.

Они пробыли на Соловках, потом их выслали в пересыльный лагерь в Троицк, на южном Урале. Они еще не были женаты, но были уже в близких отношениях. Вскоре матери дали ссылку в Киргизию, в город Пишпек (потом его переименовали во Фрунзе, а сейчас это Бишкек). И она на стене камеры нацарапала свое имя и написала, что ей дали ссылку в Пишпек. И случайно в той же камере спустя какое-то время оказался отец, прочел надпись и попросил дать ему ссылку в Пишпек, объяснив, что туда уже отправили его жену. Ему разрешили, он приехал в Пишпек, и там родители поженились.

Мать добиралась до Пишпека с пересадкой в Ташкенте, причем ждать в Ташкенте надо было часов двенадцать. У мамы был с собой адрес ссыльной одесситки, которая жила в Ташкенте. Мать пришла к ней, та ее очень хорошо встретила, накормила, они посидели, поговорили. И когда мать приехала в Пишпек, то бросила открытку: спасибо за приют, все в порядке, я добралась хорошо...

Через некоторое время у этой женщины произвели обыск — она была меньшевичка. И взяли всю ее корреспонденцию. Мать вызвали в ГПУ, сказали, что за связь с этой меньшевичкой ей добавляют наказание: ее переводят на два года из Пишпека в Усть-Сысольск (сейчас — Сыктывкар). Мать тогда уже была беременна, ей дали отсрочку. Нас выслали, когда мне было около года.

Отцу разрешили отвезти нас. Но жить с нами там он не мог, иначе весь свой срок он должен был отбывать в Усть-Сысольске.

Мы с матерью вернулись к отцу через два года. Во Фрунзе было много ссыльных, и ссыльные решили сделать что-то вроде кассы взаимопомощи: многие голодали, не имели заработка, и те, кто работал, скидывались. Отец был кассиром.

Через некоторое время ГПУ узнало об этой организации. Организация ссыльных! Решили разгромить. Отцу дали год тюрьмы. Шел 1930 год. Мне было четыре года.

Мать была профессиональной пианисткой, хоть и не закончила Одесскую консерваторию. Она подрабатывала в кинотеатрах как тапер, по-

том стала работать концертмейстером в Театре оперы и балета. Меня не с кем было оставлять, и я ходил с ней. Мама стелила под рояль тюфячок, и я там засыпал.

Мы с матерью жили в полуподвале, в малюсенькой комнатухе: там стояла кровать, на которой мы с матерью спали, и тумбочка. Даже стола не было. И вдруг я вижу, как открывается дверь, и по ступенькам спускается незнакомый человек, бородатый. И мать бросается к нему на шею, они обнимаются, смеются. А я, оторопевший, не понимаю, в чем дело. А это отец вернулся.

В 1923 году их арестовали, в 1925-м они вышли, получили по десять лет ссылки, и в 1935 году срок ссылки кончился. Мать послали в Ленинград на республиканский конкурс музыкантов. Мы втроем приехали в Москву — у отца здесь жили тетки. Мать съездила на конкурс, потом мы все вместе поехали в Одессу к ее родным. Ее мать к тому времени уже умерла, а отец с братьями были живы.

После мы вернулись во Фрунзе. Жили мы в маленьком одноэтажном домике с камышовой крышей. Комната у нас была одна — родителей, но мне потом пристроили рядом комнатуху.

В воскресенье 5 июня 1937 года мы пошли на базар. А когда вернулись, то я не сразу пошел в дом, а остановился у арыка помыть ноги. Вдруг мать выбегает из дома и говорит мне: «Беги к одному нашему знакомому (я помню, Игнатьев была его фамилия, а как звали — не помню...) Скажи — у нас обыск!» Я пробежал полквартиры, сказал, вернулся, наблюдал, как все ворошили... И потом забрали отца.

Он взял тюфяк на плечи и пошел. Попрощался с нами. И вдруг мне мать говорил: «Иди, догони, и еще раз попрощайся. И смотри не заплачь!» И я подбежал к ним — было еще двое сопровождающих... И идет отец, а на плече связанный этот тюфяк, и еще раз попрощался. И я не выдержал и заплакал. Повернулся и побежал домой — а он пошел туда.

Мы еще два раза потом виделись — у нас были свидания. Отец сказал матери: срочно бросай все и уезжай с сыном, но она его очень любила и сказала, что никуда не поедет, пока хоть что-то не сможет узнать о нем. Но меня она все же отправила к своим родным в Одессу, и скоро ее тоже арестовали. Отца расстреляли, хотя приговор был 10 лет без права переписки, и нам 10—15 лет отвечали одно и то же. И только после хрущевской реабилитации мы узнали, что он был расстрелян. Хотя нам присыла-

ли из ЗАГСа выписку, что он умер от рака в 1948 году, а в графе «место смерти» стоял прочерк.

Мать отсидела 10 лет в лагере, год потом жила в Соликамске. Я ездил к ней. Потом ее арестовали снова и выслали в Красноярский край...

Я прожил в Одессе четыре с половиной года. Потом началась война. Я был эвакуирован в Казахстан, в глухую деревню, прибавил себе года и попал на фронт добровольцем гораздо раньше, чем мог бы попасть. Вскоре меня ранили, и после госпиталя я приехал в Москву, к теткам отца, и поступил в Московский университет.

При поступлении я скрыл, что у меня родители арестованы. Это всплыло на четвертом курсе, и меня чуть не исключили из университета и из комсомола. Я был отличником, но это не имело значения. Зато я был инвалидом войны — и меня оставили.

Из Москвы я ездил к матери. Я расстался с ней 10-летним мальчиком, а когда встретился снова, мне было уже 20 лет. Конечно, мы переписывались — у нас было право переписки, — но это все было не то. И я для нее был новым человеком, и она для меня... Но когда я у нее был во второй раз, в маленькой деревне на Ангаре, ссыльные мне тогда очень много рассказали о своей жизни, я был потрясен. Это был 1952 год. Я многое узнал и понял уже тогда.

Но и доклад Хрущева был для меня потрясением. Я многого не знал, только догадывался, думал об этом. И хрущевская оттепель была для меня огромным событием. Я с 10 лет, и даже раньше, жил как изгой. Я был сыном врагов народа.

ДИССИДЕНТЫ

Некоторые собрания, на которых составляли «Хронику текущих событий», проходили у меня дома. Я знал многих, кого потом арестовывали, высылали: Сергея Ковалева, Татьяну Великанову... У меня дома хранилась запрещенная литература, я прятал ее между книг. Но все это была чепуха, конечно: если бы ко мне пришли с обыском, то сразу все нашли бы... У меня до сих пор хранятся купленные нами тогда ксерокопии «ГУЛАГа»: кто-то из правозащитников делал эти копии, но им нужно было платить за использование ксерокса...

В этом был и страх, и азарт одновременно. Я ненавидел систему, которая исковеркала и мою жизнь, и жизнь моих родителей. Конечно, я боялся. Но во мне была еще и злость. Невозможно было просто терпеть всю эту гадость.

ПОСЛЕ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Секретарь партбюро вызвал меня после собрания и начал меня пропесочивать. И когда я ему начал рассказывать, что происходило в Чехословакии, он закричал:

— Откуда вы знаете?!?

— Я читал газеты...

— Какие?!

— У нас же продаются газеты стран народной демократии: и польские, и чешские, сербские, югославские...

— Это все купленные газеты!

— Но это же коммунистические газеты...

Мне тогда почти ничего не было. Единственное: меня отстранили от руководства группой, которая должна была сделать одно исследование. И все.

Ко мне очень хорошо относились в институте, и на ближайших выборах в местком меня снова выбрали. Но пришел новый директор, который решил изменить всю институтскую атмосферу, и начал применять жесткие репрессивные меры. Местком ему противостоял, его это возмутило. И он решил многих выгнать.

Однако сделать это можно было только через решение ученого совета. Раз в три года мы должны были проходить переаттестацию на ученом совете. Юру Апресяна — а он к тому времени был уже крупнейший ученый — не переаттестовали. Еще одного не переаттестовали. Потом и до меня очередь дошла.

Я уже знал, что так и будет. И несколько человек, которые со мной подписывали письмо в защиту Гинзбурга и Галанскова, решили уйти из института сами. А я не хотел помогать тем, кто — я знал — хотят меня выгнать. Не хотел, чтобы они остались с чистыми руками. Это был 1974 год.

Ученый совет проголосовал большинством голосов против меня. И я ушел.

Но ни одного дня я не был без работы. Мои хорошие знакомые, известные лингвисты, устроили меня преподавать русский язык в Высшую школу профсоюзного движения, которая готовила профсоюзных лидеров, в том числе из стран народной демократии.

В Институте русского языка кадровичка не знала, что написать мне в трудовую книжку, и поставила: «в связи с окончанием срока договора». И я, с такой биографией, преподавал два с половиной года иностранцам. И замдиректора Института русского языка, член КПСС, однажды зашел в Высшую школу профсоюзов и неожиданно меня там встретил. Но никак не отреагировал. Им было важно выгнать меня из своего Института.

А потом меня пригласили в Педагогический институт им. Ленина, и я проработал там почти 20 лет. Меня взяли на факультет начальных классов. Студенты были очень слабые, и мне было малоинтересно. Зато я ездил в диалектологические экспедиции.

Когда преподавал, то цитировал и давал для упражнений только очень приличные тексты: Цветаеву, Ахматову... И однажды ко мне пришли родители одной студентки: они поняли, что я «свой» по текстам из тетрадки дочери... Мы потом обменивались с ними книгами.

А в 1992 году два академика: Толстой и Апресян — попросили нового директора Института русского языка вернуть меня. И я стал работать, а через какое-то время возглавил свой прежний отдел.

СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

Я везде ловил социальный подтекст, поэтому для меня на первом месте было два театра: «Современник» и Таганка. У нас были возможности попадать на Таганку: в институте работала женщина, как-то связанная с этим театром. И некоторым избранным она давала билеты. Я очень любил этот театр, многое там пересмотрел. Я помню, как я был на «Антимирах»¹¹⁸, и, кажется, там Высоцкий пел «Охоту на волков». Потрясающее впечатление песня произвела.

Я помню «Волки и овцы» в театре Моссовета, этот спектакль потом закрыли. Меня поразила режиссура: герой произносил монолог, разговаривая с другими актерами. А потом он поворачивался к зрителю и произносил тот же самый монолог на зрителя, но уже с совершенно другими акцентами. Это было совершенно потрясающе.

Сколько раз я был в Третьяковке, даже не знаю. А на Малой Грузинской — один раз.

Я помню, что мне очень хотелось, чтобы жена и дочь попали на «Декабрьские вечера»¹¹⁹. И я простоял ночь и достал тогда четыре билета: давали только по четыре билета в руки. И вот они ходили на два концерта, а сам я уже не пошел.

КНИГИ

Может, один или два раза я носил сдавать в макулатуру какие-то газеты, но макулатурные книги я никогда не покупал. Я покупал книги, с которыми мне и сейчас жаль расстаться.

Мы всегда очень бедно и напряженно жили. Сначала я получал 100 рублей, потом — когда защитил кандидатскую диссертацию — стал получать 200 рублей. Мы и сейчас живем очень скромно, не бываем ни в ресторанах, ни в кафе. Одежда носится долго. Но мы очень много работаем. Ездим в экспедиции...

Но альбомы по искусству я покупал. Их невозможно было не покупать.

О Мандельштаме я узнал впервые от Кости Богатырева¹²⁰, когда учился в университете. Он учился со мной на одном курсе. Его арестовывали, он сидел. Мы с ним встретились потом, он долго рассказывал, как он сидел. Мы не были близко дружны, но дух в нас был один и тот же. И когда мы учились на втором курсе, он назвал имя Мандельштама. Но достать его было невозможно... Гораздо позднее мне кто-то прислал из-за границы один томик из четырехтомника Мандельштама...

Я ездил в экспедиции, и где бы я ни был, во всех маленьких городках я обязательно заходил в книжный магазин. Там иногда можно было ку-

пить очень редкие книги. Например, в райцентре Шуйское Вологодской области я купил однотомник Цветаевой. Прихожу — там стоит один экземпляр. Деревенским это неинтересно было. А иногда из экспедиции я привозил просто гору книг.

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Нодель Феликс Абрамович, 1931 г. р. В 1970—1980-е годы преподавал в московских школах.

Я в детстве хотел стать актером, даже занимался в театральной студии Центрального Дома пионеров. Со мной там занимались Лев Круглый, Игорь Кваша... Мы остались друзьями, и я после ходил на все их спектакли в «Современник»...

В седьмом классе я так часто ходил в театр, что, бывало, по воскресеньям смотрел по три спектакля. И однажды в антракте я заснул, и проснулся посреди действия... Я настолько переутомился, что спал на ходу, и однажды на улице Воровского врезался головой в почтовый ящик. Меня отправили к врачу, обнаружилось крайнее нервное истощение, и я две недели не ходил ни в театр, ни в школу.

Знающие люди объяснили мне, что актером я быть не могу, «недостаточно владею аппаратом», а вот театровед из меня, может, и получится. И пошел бы учиться на театроведа, но в тот год били космополитов — и мне туда хода не было.

Меня нагло провалили при поступлении на филфак МГУ в 1949 году, и я на следующий год поступил в педагогический.

При поступлении мне сказали: «В вашей автобиографии есть строчка: отца не знаю, ношу отчество матери. Этого не может быть. Кто-нибудь из семьи должен знать. Приведите того, кто знает». Я привел тетку, которая меня усыновила. Она объяснила, что отца репрессировали (видимо, чуть

раньше 1937-го; в 1939-м взяли мать, но до этого они с отцом разошлись, и в моей метрике в графе «отец» был прочерк). Мне было сказано: «А теперь все это запишите своей рукой». После чего меня приняли.

После окончания института я просился во Владивосток — у меня там были друзья. Но меня ждал Красноярск...

Проработав год в Красноярске, я написал заместителю министра — и мне разрешили вернуться в Москву, отработав год вместо положенных трех.

После в Москве я год занимался репетиторством, потом — устроился преподавать в вечернюю школу, а через 10 лет уже работал в школе «с уклонами» на Пресне, где проработал до 1980 года.

Когда мне было года 23, я попал в дом Виктора Ефимовича Ардова. Не помню, как и почему я оказался там. Но Ардов надо мной шефствовал, меня даже одно время рассматривали как возможного редактора его книги об эстраде... Там я познакомился с Алексеем Баталовым, правда, шапочно, с нынешним о. Михаилом... У Ардовых я дважды видел Ахматову, она оба раза приходила совершенно разъяренная тем, что с ней делают. Это было в начале пятидесятых...

Я вел кружок, где ребята говорили о литературе, что хотели. Я всегда считал, что о литературе можно говорить все, что думаешь. Базаров — предшественник ленинцев? Хорошо, но если он кому не нравится, то — ради бога. Если кому не нравится Пушкин, а нравится то, что о нем написал Писарев — тоже ради бога.

Дети обращались к родителям: «А его не посадят?» А я просто читал ученикам Писарева о «Евгении Онегине», что Онегин — это «напомаженный Митрофанушка»...

На меня писали доносы. Коллеги, родители. Я позже обо всем узнал. Писали, что я антисоветчик, что у меня ученики не тех любят: как они смеют не любить Базарова, а любить Печорина, и т. д. Однажды я выступал с докладом на рабочем совещании и не успел после него вернуться

в свою школу рабочей молодежи, как у директора раздавался звонок: «Ты у него на уроках был? Сходи, наверняка антисоветчину порет. Вот только что у него в докладе было то-то и то-то».

Но административных мер по поводу этих доносов не принималось. У меня был полуроман с молоденькой председателницей профкома в школе, она сказала: «Феликс, знаешь, что на тебя скопилось?» — и не передала дело дальше. Директор школы тоже был еврей и понимал, что многие нападки связаны с моей национальностью. К тому же он был тертый калач, и из самосохранения не стал бы поднимать лишний шум.

После выступления Хрущева в Манеже меня обступили мои ученики и начали приставать, согласен ли я с ним. Я какое-то время пытался не отвечать напрямую, но меня приперли, и я заорал: «Ну что вы хотите от меня? Да, я с ним не согласен!» Может, об этом тоже был донос...

Тема моей диссертации была «Комплексное использование искусства при изучении литературы в средней школе». В основном это касалось театра и кино, меньше — живописи, музыки, телевидения.

Мы ходили с учениками в театры, всегда туда, где было необычное прочтение. Для меня несомненно, что главное про жизнь сказано в литературе. Но если в литературе это заложено, но не всегда проявлено, то в пьесе или в инсценировке это все видно отчетливо. Мы на уроках обсуждали новые театральные трактовки Товстоногова, Эфроса, Любимова, и детям становилось очевидной актуальность классики.

В школе на Пресне были гуманитарный, химический и физико-математический классы, и с гуманитариями мы часто ездили в Ленинград. Я заранее посылал заявку, что, мол, гуманитарный класс и я — педагог, аспирант, работающий над такой-то темой, хотели бы посмотреть такие-то спектакли... То, что детки интересуются искусством, всегда производило впечатление.

Нас приезжало человек пятьдесят, зимой — на шесть дней, летом — на десять. Жили в школе-интернате. И окрестности смотрели. А в завершение всегда шли в кафе «Север».

Нас ошеломили «Горе от ума»¹²¹ и «Ревизор»¹²² в БДТ. Мы в январе 1966 года ездили в БДТ ради «Горя от ума», и попутно посмотрели «Три

сестры» и утренний «Я, бабушка, Илико и Илларион»¹²³. В антракте со мной за кулисы к Юрскому пошло «пятеро смелых». Я привез ему подборку сочинений о «Золотом теленке»¹²⁴, других его ролях... А он рассказывал, как задумывал своего Чацкого, хотел в нем Пушкина воплотить. Пообещал прийти к нам в школу. На ребят он произвел сильное впечатление.

Однажды в Москву приезжал Николай Акимов, мы с ним поговорили, и он пообещал, что, когда я приеду с детьми в Ленинград, он рад будет с нами встретиться. И вот мы приехали — 50 человек — взяли билеты на спектакль, а потом решили пойти к Акимову: мол, приглашал же... Но мы пришли не вовремя: у него сидел Радзинский... Акимов вышел к нам разъяренный: «Как вы могли не предупредить!..» Но я его обезоружил гениальной фразой: «Николай Павлович, но причем тут ребята? Ну я виноват, я не подумал, но причем тут ребята?..» Акимов махнул рукой: «А, ладно, пойдемте!» — и час нас водил, показывал, рассказывал. Не знаю, ждал ли Радзинский все это время, или Акимов скомкал их разговор из-за нашего визита...

В 70-е меня с учениками приглашали на просмотры и обсуждения на «Союзмультфильм». Я был знаком с Андреем Хржановским, видел многие его вещи, в том числе и запрещенную «Стеклянную гармонику». Раза два общались с Норштейном. Детки очень рвались на такие просмотры.

У нас на Пресне была вторая смена, и утром мы часто ходили на репетиции в театр, а вечером к нам приходили искусствоведы, художники, актеры. И никого из ребят не нужно было «загонять» на эти встречи, всем было очень интересно.

К нам приходили Александр Свободин, Александр Кутепов, актер театра Советской армии, многие другие. Рассказывали, как создается спектакль. Приглашали к себе в театры, звали за кулисы. Помню, как мы смотрели «Вишневый сад» в театре Советской армии¹²⁵, и Кутепов, стоя в правой кулисе, разгримировываясь, торопился и рассказывал детям о спектакле, о репетициях... Дети с удовольствием ходили в театры, в кино. Может, потом не все писали рецензии — это не было обязательной. Но ходили все.

В конце семидесятых Алла Кигель, дочь известного театрального художника, работала в МТЮЗе и готовила «Героя нашего времени» по своей инсценировке. Она для работы брала у меня статью Виноградова¹²⁶. И пригласила нас на ночную генералку. И вот ребята из Бибирево едут поздним вечером в МТЮЗ, сидят там до полуночи, родители волнуются... И правильно, что ездили. Премьеры не было — спектакль закрыли.

Мы смотрели «Разгром» в театре Маяковского¹²⁷ с Джигарханяном, смотрели на гастролях БДТ «Мещан», «Сколько лет, сколько зим»¹²⁸ с Лавровым и Юрским, видели с учениками «Петербургские сновидения» в театре Моссовета¹²⁹ по «Преступлению и наказанию».

Я давал детям и современную литературу, но не самиздат — это было невозможно. Но Бабеля рекомендовал (когда его уже начали печатать). Я говорил: «Посмотрите, как люди бездуховны...» Один год пытался ввести Артема Веселого. Мы читали «Закон вечности» Нодара Думбадзе, «Свет далекой звезды» Чаковского. «Как закалялась сталь» давал через фильм и через то, как о романе и его истории писал Лев Аннинский¹³⁰. «И это все о нем» В. Липатова затрагивал как телефильм и рекомендовал книгу.

«Малую землю» мы не проходили — этого не было в программе, было лишь рекомендовано. Но сам я читал, разумеется.

НЕ ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ

Я знал, что Брежнев — ничтожество. Но когда мне говорили в редакции журнала «Народное образование», что моя статья не пойдет без цитат из Брежнева, — я их вставлял и при этом не испытывал никакого внутреннего раздвоения.

Когда Брежнева только назначили, моя тетка, жена расстрелянного, бывшая ссыльная, сказала: «Ну что, обыкновенный человек — его назначили, будет работать». Никто не ждал, что во главе государства должен быть обязательно выдающийся человек.

К высылке Солженицына я отнесся плохо, хотя не помню, говорил ли я об этом кому-нибудь. А когда сослали Сахарова, то возникало желание узнать, что случилось на самом деле. Я не очень верил газетам и начал искать, кто мне может рассказать. И кажется, узнал раньше, чем начали открыто об этом говорить.

О Чехословакии тоже узнал сильно позже, «задним числом». Вообще о многом узнавалось «задним числом». Я никогда не имел оснований считать себя диссидентом. Я даже «голосов» не слушал до 1991 года.

У меня семь человек в роду пострадали, и я старался по возможности не выходить за рамки. Хотя меня всюю ущемляли...

Я еще с детства знал, что мной и группой моих товарищей с девятого класса интересуется КГБ. Нас поодиночке вызывали, допрашивали. Когда я говорил на допросах в КГБ слово «соотечественник», их это бесило. Они кричали: «Отечество у нас одно!» — а все вокруг мне доказывало, что нет.

Мы не принимали Сталина, но долгое время жили иллюзией, что Сталин нарушил ленинские нормы. Что были ленинские нормы. Нам казалось, что коммунизм возможен.

В партию меня не пустили, хотя я пытался в начале 60-х. Мне с глазу на глаз сказали, что «с биографией вашего отца нечего и думать», а на людях ответили, что в школе рабочей молодежи у вас был отсев, и из трех положенных лет вы в деревне только год проработали.

А что касается чувства национальной гордости... Возник некоторый эмоциональный подъем, когда Гагарин полетел. И все.

Высоцкого я почти не знал. Сосед по дому на Пресне летом целыми днями крутил Высоцкого на полную катушку, в полный голос, и это создавало дискомфорт. А на сцене я видел его только в двух ролях: Гамлета и Галилея. До этого я уже видел Рецептера в роли Гамлета, Козакова, мне было с чем сравнивать. Но в некоторых сценах Гамлет Вы-

соцкого был именно таким, каким, как я представлял, и должен быть Гамлет.

Таганка на меня не производила потрясающего впечатления никогда, кроме, пожалуй, спектакля «А зори здесь тихие»...¹³¹

Моими театральными кумирами были Иван Николаевич Берсенев в Ленкоме и Александр Борисов в Александринке.

Я ДАЖЕ НЕ ВСЕХ ЛЕНИНЫХ ВИДЕЛ...

На «ленинские» спектакли, по-моему, я не водил детей — на них было трудно попасть. Я даже не всех Лениных видел. Кирилла Лаврова видел («Перечитывая заново»¹³²), а Калягина — нет¹³³. Но ни один из исполнителей мне не нравился: у Кирилла было внешнее сходство, но совершенная внутренняя пустота. Он гораздо лучше был в роли Молчалина или Городничего...

КНИГИ

У меня были скромные жилищные возможности: коммуналка, этажерка. Поэтому книги я покупал редко, и дома держал только те, что входили в программу или те, которые нужны мне были для работы. Но я покупал книги по театру, по искусству.

В самиздате читал «Собачье сердце», «Крохотки» Солженицына, стихи из романа «Доктор Живаго» Пастернака.

А «ГУЛАГ»... Хотите начистоту? Третий том я до сих пор не прочел. Первые два тома прочел. И уже лет восемь читаю ученикам начало — механику ареста.

Сильными впечатлениями были журнал «Новый мир», фильм «Земляничная поляна» Бергмана, «Восемь с половиной» Феллини, картины Алова и Наумова, «Иваново детство» Тарковского. Мы поклонялись Берсеневу, Товстоногову, Эфросу.

Я ходил на все, что производило впечатление разорвавшейся бомбы. В этом был азарт — пойти на то, о чем спорят. И составить собственное мнение.

ПСИХИАТР

Пырков Павел Петрович, 1941 года рождения. В 1970—1980-е годы работал в психиатрической больнице № 14 Красногвардейского района Москвы и в психоневрологическом диспансере № 10.

На одну зарплату прожить было нельзя: оклад — 70 рублей. Приходилось работать на полторы ставки. И вот после своей основной работы еще идешь в другое место, на три-четыре часа. Так что рабочий день длился с восьми утра до девяти вечера. Плюс дорога. Так что на культуру оставались только выходные.

Но на вторую работу можно было идти только с разрешения «общественного треугольника» основного места службы: партком, местком и администрация. Обсуждают, унижают, анализируют твое поведение, а потом: ну ладно уж, разрешим ему после работы еще поработать...

В кафе мы не ходили, в рестораны тоже. Это было не по карману. Но заходили в кафетерии — такие забегаловки, где кофе стоил пять копеек, десять копеек. Или любили попить водички из автомата — три копейки с сиропом, одна копейка — без сиропа. Машины эти работали на хороший удар кулаком.

ДЕФИЦИТ

Я помню талоны на одежду в семидесятые. Чтобы купить дубленку, выдавали на 40 человек один талон, и мы тянули жребий. Однажды мне повезло. Но как потом прийти в ней на работу? Позор. Зависть. На тебя все смотрят как на врага. Так и провисела дубленка дома, в шкафу.

Помню, жене выпал талон на палас, и мы заняли денег и поехали в Бибирево. Выбирать было не из чего, рисунок был один только. Отрезали нам два на три метра, и около магазина — толпа желающих, приехавших с юга: мы дадим денег в два раза больше, отдайте палас! Но мы не согласились. И пока везли этот палас в метро, к нам все время приставали: продайте, продайте... Очень унижительно было, неприятно.

В начале перестройки профессора стояли в очереди за ботинками в магазине «Лейпциг». Долго стояли, часа три. А когда зашли — выбрать нечего было, нужные размеры закончились.

У меня лечилась одна директорша универмага, и однажды она мне позвонила и сказала, что завтра к ним поступят кожаные перчатки, то ли чешские, то ли венгерские. Говорит, я вам оставляю. Я к ней приезжаю, и она в кабинете из-под сейфа, с пола достает перчатки. На второй день я, радостный, иду в поликлинику на работу, кладу перчатки в наружный карман пальто, сдаю в гардероб. После смены пальто получаю — а перчаток нет. День всего походил в новых перчатках. Скандал не устроил, да чего там...

Все из-под полы покупали. Мне пациент рассказывал: ему нравился рок, и вот он купил из-под полы у спекулянта пластинку, последние деньги отдал. Пришел домой, поставил — а там речь Брежнева. Он в ярости выбегает на балкон, кричит что-то, топчет, давит пластинку — и его забирают. За оскорбление власти.

ПАРТИЯ

В партии я не был, не хотел. Мне не нравилась эта идеология: была большая разница между тем, что партия говорила, и тем, что она делала — спецмашины, спецзаказы, спецсанатории, оборудование шикарное в партийных больницах, — словом, спецжизнь.

Многим членство в партии нужно было для карьеры: например, аспирантам, у которых скоро защита. Кому-то нужна была квартира, а быть членом партии при распределении жилья — дополнительный плюс.

Протестовать невозможно было. Мы все были воспитаны на марксизме-ленинизме. Если будущий врач не сдаст шесть экзаменов по общественным наукам, не получит диплома. Но душа этого никак не принимала... Я не верил ничему, что они говорили, печатали. Я считал, что все вопросы по управлению экономикой вполне могли решаться Совмином: там были специалисты, отраслевники...

В Мавзолее был один раз — студентом. Вижу — все идут, огромная очередь. Я встал. Надо же посмотреть хоть раз. У меня оказалось свобод-

ное время, а в кейсе всегда лежала книжка. Пока дошел, прочел страниц 200, кажется. Зашел, посмотрел. Мне, как врачу, смотреть на труп уже тогда было неинтересно. Помню чувство жалости: ну что ж его не похоронят никак... Интерьер посмотрел, охрану. А сзади подталкивают: не стой, не останавливайся...

На демонстрации я ходил. Там заставляли флажками махать, и вот стараешься, чтобы флажок тебе не достался. Не хотелось его нести, потом еще ехать с ним... Врачам не давали отгулов за демонстрацию, видимо, считалось, что мы так проявляем свой патриотизм...

Однажды мне нужно было попасть в одно место, и я решил поехать на троллейбусе. Мы проехали Институт педиатрии, Черемушкинский рынок, а дальше начинается Ленинский проспект. Так нас заперли в троллейбусе на четыре часа! Какой-то король проезжал. Жара, окна закрыты, троллейбус битком набит народом — и никого не выпускают: вдруг ты террорист, специально подкрался? Вся дорога забита машинами, все сидят, молчат, ждут. С тех пор я всегда избегал этого маршрута...

Про диссидентов я знал: у меня был приемник «Рекорд», слабенький, но он ловил и «Голос Америки», и «Свободу». Я услышал «20 писем другу» Светланы Алилуевой, услышал о Солженицыне — что его посадили несправедливо. И помню публикацию в «Правде» — вырванные фразы, оборванные цитаты из «Августа 1914 года». Это был полный разнос, обвиняли в антисоветчине. Мол, автор не достоин жить на свете.

Было очевидно, что высылка несправедлива. Но я понял, что там он спасется — это лучше, чем превратиться в лагерную пыль.

Я застал пациентов, которых психиатры спасли от сталинского ГУЛАГа. Эти люди десятилетиями находились в больницах, но они не производили впечатления душевнобольных. Я в те годы был студентом, ничего в психиатрии не понимал, но эти пациенты очень отличались от остальных. Среди них были художники, они писали огромные полотна. Наверное, были и писатели. Но писать им не разрешалось...

Самиздат ко мне не попадал. Мне только дали на два дня ксерокопию «Доктора Живаго», но трудно было прочесть за такое короткое время. И еще я читал «Один день Ивана Денисовича».

На работе я был осторожен. Если кто-то что-то говорил, это сразу становилось известно парторгу. Этот парторг решал, пускать вас в Варшаву, например, или нет. А я ни разу не был за рубежом. Поэтому на работе я особенно не разговаривал — а то парторг еще сочтет, что ты политически незрелый, много говоришь... Да и некогда было разговаривать: ты постоянно в палате, диалоги с пациентами, оформление документации. Очень мало свободного времени...

Так что дома было одно, а на работе — совсем другое. Душевный дискомфорт был постоянным. Ложь страшная везде.

У меня отец погиб под Калугой в феврале 1943 года, написали: «Без вести пропал». Как это? Он что, молекула? Там же командиры были... Лозунг «Никто не забыт» был сплошным лицемерием. Отца моего забыли сразу же после боя...

Расслабляешься, когда уезжаешь с детьми за город, на природу. Или когда «культурно отдыхаешь».

Культура не была частью жизни каждого человека. Один может футбол смотреть два часа, а я этого никогда в жизни не делал. Я не понимаю этого кайфа. Футболом надо заниматься, а не смотреть. Если есть время — лучше встань на лыжи и покатайся полтора часа.

Мой кайф был в том, чтобы увидеть новое.

КИНО

На Старом Арбате был кинотеатр «Наука и знание», где-то между Вахтанговским театром и МИДом. Там шли очень интересные документальные фильмы, билет стоил 10 коп. Каждые три дня — новый фильм: исторический, познавательный. А в подвале кинотеатра был дешевый буфет: три копейки чай, десять копеек булочка.

И если я оказывался в тех краях, то обязательно заходил.

Я помню, как на территории ВДНХ слева была круговая кинопанорама. Круглый зал, вокруг 20 или 30 огромных экранов, и на них проецируется фильм. Ты стоишь в центре этого зала и будто становишься участником фильма. Например, показывают, как машина едет по городу. И чувствуешь себя так, будто сидишь в этой машине. Вдруг — красный свет. И все зрители дружно делают шаг вперед, «чтобы удержаться».

Суперэротичный фильм был «Мужчина и женщина», его показывали в кинотеатре «Мир» на Цветном. Мы очень долго стояли в очереди за билетами...

А перед этим вышел на экраны «Человек-амфибия»: там были очень интересные подводные съемки.

У меня родственник работал в Госкино, так что была возможность ходить на официальные программы кинофестивалей. Я смотрел по четыре фильма в день. На время фестиваля я оставлял работу по совместительству, и с шести вечера до часу ночи смотрел кино.

Однажды рядом со мной оказались Сергей Герасимов с супругой. Они проговорили весь фильм: обсуждали, как играют, как надо — не надо... Конечно, они мне мешали, но было очень интересно посмотреть на их реакцию. А впереди сидел Даль Орлов. И я на тех фестивалях понял, какой это труд смотреть фильмы, и еще общаться, обсуждать. Изо дня в день, 12 дней.

А меня эти фильмы привлекали еще и видами заграничной жизни. Когда ни разу не был в чужой стране, а видишь только снимки из газеты «Правда», как бомжи ищут что-то около мусорных контейнеров, или демонстрации... И тут нам показывают настоящий Париж: как там народ ходит, во что одет, как они на лужайках, на газонах лежат, из бутылок пьют, никто ни с кем не ругается... Это было симпатично, приятно смотреть. Улицы чистые. Очень отличалось от нашей реальности.

А у нас, я помню, попробуй зайти в метро в трениках — тут же мент остановит: почему одежда не соответствует? О шортах и говорить нечего. Попробуй пить из горла воду, тут же тебе сделают замечание: мол, нарушаете общественный порядок, гражданин! И ни в одной

стране, кроме нашей, я не видел бородатые от объявлений стены и столбы.

КНИГИ

Помню, как сложно было подписаться на приложение к журналу «Огонек»: тоненькие белые книжечки, серия «Библиотека “Огонька”». Подписка была ограничена, и преимущество имели те, у кого была подписка на сам журнал. И вот подписываешься на «Огонек» и становишься, уже с квитанцией, в очередь. Объявляют, что подписка будет в такой-то день. Приходишь — нет подписки. И ходишь потом каждый день, узнаешь: началась подписка или нет. И если повезет, получаешь квитанцию на получение нескольких брошюр.

Чтобы получить подписку на книги через магазин, то ночуешь около магазина, зима, лето — неважно. Он открывается утром в 10.00, и если ты попал в число первых десяти-двадцати человек — тебе повезло. Идешь с паспортом, оформляешь предоплату, получаешь квитанцию. И потом ждешь извещение с почты. После на почте доплачиваешь — и тебе вручают том.

Я читал три-четыре газеты: «Правду», «Социалистическую индустрию», «Литературку». И «Неделю». Ее почему-то нельзя было выписать, так что мы ходили «ловить» ее к киоску. В каждый киоск привозили 10—15 штук, в определенный день после обеда ты идешь к «Союзпечати» и ждешь. Всегда было шесть-семь таких желающих. Такая радость была, если удавалось купить. А то еще могли в этот день не привезти...

Собираем, упаковываем макулатуру: газеты, пакеты, коробочки расправляем. Связываем. Несем. Приходим — пункт закрыт, почему — неизвестно. Но «Женщину в белом» Коллинза за 20 кг макулатуры я все-таки получил.

У меня дома около 4 000 книг. Библиотека. Я покупал альбомы по искусству — по 15, 25 рублей. Выкраивал как-то. Но рестораны, кафе, такси — это было уже не для меня. Покупал всегда две-три книги. Одинаковых. Привычка была. Потом их дарил.

ТЕАТРЫ

В театры я ходил смотреть на артистов. Сама театральность меня не очень привлекала, все казалось ненастоящим, не про жизнь. Я смотрел «Турандот» в Вахтанговском с Яковлевым и Борисовой¹³⁴, смотрел Смоктуновского во МХАТе, Менглета и Папанова — в Сатире. На Таганке посмотрел три спектакля, но Высоцкого на сцене не видел.

Зато я все вещи прослушал в Кремлевском Дворце съездов: билеты по 50 копеек, почетный балкон. Самые дальние места, зато отличная акустика и все видно.

ВЫСТАВКИ

Однажды я попал на выставку гравюр XVII века. Так я получил такое удовольствие... Я же нигде их до этого не видел!

Глазунова первый раз посмотрел в Манеже в 1973 году. Огромную очередь отстоял. Еще поразили выставки Коненкова и Пластова. А на «Джоконду» я не попал. Я ее позже посмотрел в Лувре.

Почему ходил? Душе нужна пища. Душе хочется красивого. Скульптура Микеланджело — реальная, близкая, понятна. Чтобы понять сюрреализм, нужно затратить много душевных сил, долго на эти картины смотреть невозможно. Мне же всегда нравилось красивое и реалистичное искусство, оно для меня и понятней, и приятней.

МУЗЫКА

Мы все время слушали классику на пластинках. Чайковский, Шопен. И на концерты ходили.

Мне очень нравился гитарист Иванов-Крамской. Один раз случайно увидел его афишу, пошел — и очень понравилось.

Однажды я попал на концерт Мирей Матье. Первое отделение она пела, а второе было отдано французскому варьете. Это было роскошное зрелище, и главное — неожиданное.

А на Анну Герман не попал. Она прилетала в Москву, была уже после травмы, и у меня было два билета... Но как раз в это время приехал мой друг из Гродно, и я ему билеты отдал. Кто же знал... Она моя любимейшая певица.

Я часто приглашал актеров и певцов к пациентам в больницу. Сначала сам шел на концерт, и если мне нравилось, то шел за кулисы и приглашал провести сеанс музыкального лечения. Бесплатно. И никто никогда не отказывался.

ПАТОЛОГОАНАТОМ

Федорова Валентина Константиновна, 1937 года рождения. В 1970—1980-е годы работала в московских городских больницах.

Я выросла в люмпенском районе Москвы, возле Даниловского рынка. Там была тюрьма для детей врагов народа, но нам говорили, что они преступники. Мы видели, как подъезжали «воронки» и их выгружали, но близко не подходили. Нас воспитывал двор, воры приносили дыни, арбузы, бочонки с патокой, и мы палками выковыривали ее и всех угощали. А вечером во дворе были танцы под патефон.

Хотя сами мы были врачи, но мы ничего не знали ни о карающей психиатрии, ни о диссидентах. Солженицына читали, конечно, но воспринимали это как рассказы о прошлой жизни. Думали, что теперь все совсем не так. Хотя, когда высылали Сахарова или Солженицына, было жалко: хорошие люди, могли помочь, подсказать... Но система казалась совершенно незыблемой. И в мыслях не было, что когда-нибудь что-то изменится.

Вообще было жалко тех, кто уезжал, хорошие люди были. В компаниях они не протестовали, не митинговали, сидели тихо. А другие о них говорили: предатели.

В нашей шкале ценностей не было одежды или мебели, хрусталя. Я и сегодня не замечаю, какая у кого люстра. Ели котлеты по шесть копеек и были вполне довольны. А что до поездок — я в профкоме работала, и по профсоюзным путевкам всю страну объездила. Впечатлений хватало.

Фильмы Тарковского я не понимала, мне больше нравились исторические картины. Каждую неделю мы отправлялись в кино, на премьеру. Да и в театрах старались не пропускать интересные спектакли.

Мы, врачи, дежурили в театрах, и мне однажды досталось дежурство во МХАТе, когда туда приезжал французский балет. Помню, режиссеру стало плохо, и я должна была измерить ему давление. А аппарат был допотопный, я ничего не услышала и опозорилась. К тому же одета была по моде: жилетка, юбка короткая, гипюровая кофта. Режиссер этот с таким ужасом на меня смотрел... С тех пор я всегда брала на такие дежурства собственный аппарат, и лекарства свои приносила, на всякий случай...

На выставки ходили, на концерты, которые давались на предприятиях. Помню, как Дрезденскую галерею привозили, «Джоконду», импрессионистов. А на Малую Грузинскую я так и не доехала — ни времени не было, ни желания особого.

Помню, как приезжала к нам итальянская опера, вокруг конная милиция дежурила. Мне мой начальник, судмедэксперт, достал билет. И одна женщина так умоляла меня отдать ей билет, что я уже согласилась было, но вдруг подумала: меня же потом спросят о впечатлениях, и что я скажу? И сама пошла.

Булгакова я читала в фотокопиях, книги покупала дорого, по 15—20 рублей. Ну и журналы переплетали, конечно. Мы стихов много знали наизусть. Моя подруга могла у костра устроить вечер Гумилева, Цветаевой. А мы слушали. А политические анекдоты не рассказывали.

1942 года рождения. В 1970 и 1980-е годы работала в Научно-исследовательском институте прикладной физики (НИИПФ).

На Якиманке была «цековская» театральная касса, в ней продавали по четыре билета в одни руки на лучшие места в партере, по два билета на спектакль. Билеты давали без нагрузки, конечно.

Папа одного моего знакомого был большим начальником, и по его — папиному — удостоверению я иногда брала билеты в этой кассе. Так я попала на Таганку, на «Десять дней...»¹³⁵ и на «Доброго человека из Сезуана»¹³⁶. Мы сидели в первом ряду партера, и когда на «Десяти днях...» актеры-солдаты легли на сцену и начали стрелять в лицо зрителям, стало очень неприятно, захотелось вжаться в кресло, а еще лучше — сползти на пол...

Но удовольствие с «цековской кассой» продолжалось недолго, я вышла замуж, и обком «ушел в прошлое». Но мы все равно старались попасть на премьеры. Билеты отдавали на предприятия, а я была в хороших отношениях с женщиной из профкома, которая эти билеты распределяла. Но билеты на хорошие спектакли всегда шли с нагрузкой, и на «нагрузочные» спектакли мы не ходили никогда.

Да и книги тоже распределялись по предприятиям с нагрузкой: журнальчик какой-нибудь, книжка, брошюрка...

В 1967 году мы с мужем ходили на «Смерть Иоанна Грозного» в Театр Советской армии¹³⁷. Тогда после третьего звонка в партер не пускали, а муж опоздал, и нас, хотя наши билеты были на хорошие места, отправили наверх, на балкон. Там было очень душно, не видно ничего, и к тому же нужно было стоять. И я, беременная, упала в обморок...

А люди потом говорили: «Какой сильный спектакль, люди даже в обморок падают...»

ПЕДАГОГ

Генина Анна Герцевна, 1956 года рождения. В 1970—1980-е годы работала в литературно-педагогической части Детского музыкального театра под руководством Н. И. Сац.

В школьные годы, класса с восьмого по десятый, самым любимым был театр на Таганке. Мы проходили «Что делать?» Чернышевского и очень ворчали, хотели, чтобы нам его убрали из программы. Тогда наш учитель литературы Феликс Раскольников сказал, чтобы мы пошли на Таганку и посмотрели, как можно поставить замшелый и, как нам казалось, никому не интересный роман. И мы пошли. Может, это и не лучший был спектакль, но он был живой¹³⁸.

Так начался мой театр на Таганке. Билеты тогда продавали по четыре в одни руки, к тому же отпускалось очень ограниченное число билетов на каждый спектакль. Мы стояли ночами всей компанией: отмечались каждые три часа у держателей очереди, так что домой не уедешь... Кроме того, нужно было оказаться среди первых тридцати, а лучше — двадцати, счастливиц, потому что к открытию кассы приходили льготники, герои войны, их обслуживали без очереди, и с их появлением наши шансы взять билеты уменьшались.

Мы не всегда говорили мамам, где именно проводим ночь: чаще сообщали, что ночуем у одной из подруг. Телефоны тогда были не у всех, так что проверить нас было невозможно. Мы жили в Химках, и я помню, как однажды всей компанией мы поехали с Ленинского проспекта отпрашивать меня у моих родителей на ночевку. Когда приехали, мне уже совсем не хотелось возвращаться обратно на Ленинский... Но куда денешься... Родители отпускали: они были гуманные и мудрые.

Стоя в этой театральной очереди, мы время от времени ходили греться в ближайшие подъезды. А когда тепло было, то просто стояли на улице, веселились, песни пели. Болтали ни о чем. И нам удавалось брать билеты — хотя не всегда на то, что хотелось.

Я тогда пересмотрела большинство спектаклей, некоторые даже по два-три раза. И по молодости мне казалось, что это самый правильный и самый лучший театр. Он говорил, о чем говорить было нельзя — я уже тогда это понимала. На Таганке было удовольствием ловить намеки, все понимали эзопов язык.

В той жизни было так много неправды, что казалось невозможным говорить о чем-либо открыто. Если где и можно было докопаться до истины, то, наверное, в искусстве.

СЕМЬЯ И ШКОЛА

Мои родители боялись советской власти. Папа понимал, что это механизм, с которым лучше не вступать в борьбу, и ограждал детей от неприятностей, а мама просто боялась панически. Дома они старались острых вопросов не поднимать.

С седьмого класса я училась в знаменитой второй физматшколе. Эта школа была организована в 1957 году, в ней учились с седьмого по десятый класс, младшей школы не было. Чтобы в нее поступить, нужно было сдать экзамен и пройти собеседование. Еще, кажется, было необходимо занять какое-то место на математической олимпиаде или получить рекомендацию вечерней физматшколы. Школа находилась на Ленинском проспекте, за универмагом «Москва». Только на дорогу у меня уходило часа полтора в одну сторону — я ездила из Химок...

В школе нас учили смотреть на вещи самостоятельно. Например, мы свободно обсуждали литературу из школьной программы: а ведь достаточно обсудить ее свободно, и не нужен никакой самиздат. Первое, что нам сказали на уроке литературы: отложите учебник, мы будем читать сами произведения и хорошие литературоведческие работы. Уроки литературы, истории, географии проходили в дискуссиях и диалогах. Мы учились думать. Учителя задавали вопросы, или наводили на вопросы нас. А начиная думать, потом уже трудно остановиться.

Нашими учителями были Герман Наумович Фейн (сейчас он профессор русской литературы в Гейдельбергском университете), Феликс Александрович Раскольников... В этой школе преподавал Виктор Камянов,

известный литературный критик: он читал в актовом зале лекции, на которые съезжалась вся Москва. У нас показывали полузакрытые фильмы, которые не шли в широком прокате. И мы друг другу давали в школе самиздат: Солженицына, например.

АЛЛЕРГИЯ

На Таганке мне нравилось отсутствие занавеса. И намеки. И еще отношение к залу: было ощущение, что ты — заодно с актерами, что мы вместе. Такого чувства общественной солидарности больше нигде не было.

Потом я, наверное, «объелась» этим театром. Началось что-то вроде аллергического раздражения. Что-то похожее со мной произошло, когда я подряд прочла 15 томов Бальзака, и потом очень долго не могла его читать. Или когда в шестом классе прочла сразу 16 томов А. Н. Островского, и все его персонажи у меня перепутались навсегда.

Разочарование в театре на Таганке началось с «Мастера и Маргариты»¹³⁹. Я сидела и узнавала приемы, реквизит и костюмы из других таганковских спектаклей. Потом я прочла, что театр сознательно на это пошел: денег на спектакль не было, но очень хотелось его выпустить...

Но самая большая обида появилась, когда театр продемонстрировал, что с презрением относится к своей публике. Мне-то нравилось, что мы соучастники, единомышленники, мне казалось, что мы на стороне театра, а театр нас выставил толпой, быдлом. В сцене варьете в зал бросили бумажки, «червонцы», и часть публики бросилась их подбирать. На одной из этих бумажек якобы стоял штамп и подпись администратора, и ее можно было обменять на билеты на ближайший спектакль театра. Я помню, что почувствовала себя униженной. Нам-то хочется быть Мастером или Маргаритой, а театр сделал нас толпой в варьете, той толпой, которую Булгаков презирал. Может, мы такие и были, но это было обидно.

Потом я прочла, кажется, в воспоминаниях Филатова, что да, мы презирали публику: мы стали модными, и к нам, кроме той публики, на которую мы всегда рассчитывали, начали приходить партийные чиновники, завмаги, с которыми расплачивались билетами в театр в обмен на ка-

кие-то другие услуги... Но мне казалось несправедливым всех мешать в одну кучу.

С «Мастера...» началось разочарование. Я стала ходить к этому времени в другие театры, чаще заглядывала в музеи. Постепенно воспитывался вкус. И для меня стало открытием, что театр — не только политическая трибуна, что в театре важнее «как», а не «что», и важно, чтобы это было каждый раз по-новому. Я увидела, что бывают театры, где каждый спектакль — разный.

На Таганке мне стало не хватать актерских индивидуальностей. Нельзя сказать, что их там не было, но режиссер очень жестко всех упаковывал в свои идеи, и это было жаль.

Когда я потом, после долгого перерыва, пришла на Таганку на «Вишневый сад»¹⁴⁰, мне не понравился спектакль, но меня совершенно покорили Демидова и Высоцкий. В Высоцком появилась тонкость, произошло какое-то качественное изменение, он стал играть, как до этого не играл даже в «Гамлете». Раньше у него все было на крике, а тут вдруг появились оттенки, нюансы, мягкость. Он превращался в большого театрального актера, и было горько, когда он умер.

И я перестала ходить на Таганку, и на долгие годы, до смерти Товстоногова, моим любимым театром стал БДТ.

ПИТЕР

Когда мы с мужем были студентами, да и потом, в первые годы работы, то ездили в Ленинград раза четыре в год, иногда приезжали на три-четыре дня. Билеты на поезд стоили очень дешево. Купе — 12 рублей, плацкарт — шесть, а студенческие — еще дешевле. Жили у знакомых.

Театральные билеты в Питере купить было проще, чем в Москве: в Москве было намного больше чиновников, брони, Москва была более модной... Питер казался честнее. Я знала там несколько уличных театральных касс, где точно можно было взять билеты. Конечно, покупать надо было «с дополнением» (слово «нагрузка» не произносилось). Игра была такая: я подходила к кассе и говорила, что мне очень нужно попасть

сегодня в БДТ. Кассирша отвечала: «Да, я могу вам предложить билеты в БДТ и...» — называла, на что еще. Иногда это были даже неплохие спектакли, только менее продаваемые. А иногда — что-то совсем чепуховое, дешевое, и кассирша предлагала: «Хотите, дам вам один дорогой билет и два дешевых?». Получалось, что билеты обходились нам в полтора-два раза дороже, но все равно это было доступно. А тогда даже три рубля за билет уже считалось довольно дорого.

Если в одной кассе не оказывалось билетов в БДТ на ближайшие дни, то кассирша при тебе звонила в другую кассу. Если там эти билеты были, то ты оплачивал их прямо тут, получал квиточек, и с этим квиточком шел в ту кассу, где тебя ждали билеты. Это был верняк.

В Москве так покупать было практически невозможно, или это оказывалось безумно дорого. Сначала в Москве еще была честная театральная очередь, но потом появилась театральная мафия, и очередь оказывалась расписанной заранее. Обычный человек, желающий постоять ночь за билетом, не имел никаких шансов.

В БДТ некоторые спектакли я смотрела по несколько раз. И БДТ меня научил, что режиссер может быть разным. Товстоногов всегда ставил автора, а Любимов — всегда — одну и ту же пьесу: «Любимов о себе и мире». И Товстоногов очень любил актеров.

ПЛИСЕЦКАЯ

Я много раз видела ее на сцене, правда, к сожалению, в ее поздние годы. Ни в «Лебедином Озере», ни в «Дон Кихоте» я ее не застала, к сожалению. Первый раз увидела Плисецкую в «Анне Карениной»¹⁴¹: я была студенткой, многое не поняла, и очень жалею, что не удалось посмотреть спектакль снова: он практически не шел.

Потом видела ее в «Кармен», в «Даме с собачкой», в «Чайке»¹⁴² — это были потрясающие спектакли. «Чайку» смотрела раз десять, я как будто снимала спектакль на внутреннее видео: там каждое движение, каждый поворот головы был волшебством, и весь спектакль был волшебство. Пожалуй, такой чеховской чайки я ни в одном драматическом театре не видела. У Чехова важен подтекст, а в балете нет слов, и Плисецкой удалось показать то, что стоит за текстом. Помню финальную сцену, когда они иг-

рают в лото, и медленно-медленно каждый игрок поднимается, кладет карту — и медленно опускается. Они — на сцене, сбоку, лампа-абажур свисает, и это за секунду до выстрела и до конца спектакля...

Я помню «Даму с собачкой» и «Кармен» так, как будто вчера их смотрела. Помню, как она кланялась, как движением руки зачерпывала цветы, как волну сгребала, и подносила к сердцу.

Я попадала в Большой театр благодаря свекрови: она работала в журнале «Советская музыка» и знала многих музыкантов, дирижеров, балетных артистов. Однажды мы со свекровью смотрели балет с Плисецкой из директорской ложи. А там не принято было долго аплодировать, там народ похлопал — и ушел. И мне свекровь говорила: пойдем, пойдем, а я не могла оторваться, стояла и хлопала. Я никогда не была ничьей поклонницей, но к Плисецкой испытывала чувства, которые ближе всего к такому поклонению. Я очень жалела, что в тот раз была без цветов. Вообще в Большом театре дарить цветы неинтересно: там их либо кидают сверху, либо, если ты хочешь, чтобы артист знал, что цветы именно от тебя, их нужно перед спектаклем отдать в определенный подъезд, написать записочку: кому, и специальные тетушки вынесут твой букет на сцену... Но когда ты даришь цветы лично — совсем другое ощущение. А из директорской ложи можно было просто протянуть Плисецкой букет... Но я пришла без цветов. Ужасно жалко было.

Я вообще стала приходить в театр с цветами очень поздно, я стеснялась, чувствовала себя неловко с этим букетом на коленях. А сейчас у меня много знакомых работает в театрах, и я прихожу с цветами.

Я никогда не писала писем никаким «властителям дум», но в уме сочиняла длинные письма Плисецкой. Мне очень хотелось с ней поговорить. Но я не записывала эти письма и никогда бы их не отправила: мне казалось, что у нее таких писем миллионы, и что я вряд ли буду ей интересна. Может, и зря. Может, это было бы важно для актрисы. Но мне казалось неудобным беспокоить ее.

«Зеркало» Тарковского я смотрела два раза: мне нужно было понять этот фильм. Мы же были воспитаны на реалистическом искусстве, нас вообще не учили, что у искусства могут быть разные языки. «Зеркало» бы-

ло для меня чужим языком, но ему хотелось научиться. Нас завораживали стихи: после фильма мы бросились разыскивать стихи Арсения Тарковского. К тому времени у него вышла одна тоненькая книжечка, и мы ее раздобыли и перепечатывали.

На «Джоконду»¹⁴³ я не пошла. Ходили мои друзья и сообщили, что стояли четыре часа в очереди и 20 секунд в толпе около картины. Я решила, что не пойду.

Я хорошо помню выставку из музея Прадо¹⁴⁴.

Когда ездили в Питер, тоже ходили по музеям. Помню, как полдня провели в отделе французского искусства: мы ходили от классицизма к импрессионизму и обратно и пытались понять, как одно перешло в другое. Вдруг в классическом искусстве находили необычное сочетание цвета...

РАБОТА

После пединститута я должна была пойти в аспирантуру, мне хотелось заниматься русским языком: я была одной из лучших студенток на курсе. Но мне открыто отсоветовали: мол, ты же понимаешь, мы тебя взять не сможем, у тебя пятый пункт, так что подумай, какое у тебя будет сильное разочарование. Моего брата к тому времени уже провалили из-за пятого пункта на вступительных экзаменах в МГУ, и повторять его печальный опыт не хотелось.

Однако идти работать в школу мне тоже не хотелось. На четвертом и пятом курсах я была на практике в привилегированной английской школе, где учились дети высокопоставленных партработников. И там была такая отвратительная атмосфера... И я нашла работу в литературно-педагогической части Детского музыкального театра Натальи Сац. Театр написал запрос в Министерство образования, и мне разрешили там работать.

Однако первый год не было ничего интересного. Уже потом, когда мы переехали в новое здание, я говорила вступительные слова перед спектаклями, проводила занятия в «Музыкальной шкатулке» — детском клубе при театре. Мы организовывали заседания актива театра: в него входили дети, которые раз в месяц дежурили на спектаклях, раз в месяц при-

ходили на встречи с артистами театра, с музыкантами. У нашего театра по всей стране были театры-спутники: самодеятельные оперные театры, где пели дети. И мы раз в году, во время весенних каникул, устраивали фестиваль детских оперных театров. Дети приезжали, показывали свои спектакли, смотрели спектакли театра, ходили по цехам, встречались с артистами... Еще я разрабатывала курс «Театр и школа»: о том, как общаться детей к театру.

Но в первый год работы ничего этого не было, мне было скучно, тоскливо, и вдруг страстно захотелось идти преподавать.

А в это время в одной школе в середине сентября ушла учительница, и два восьмых и два девятых класса остались без литературы. Школа никого не могла найти, и меня пригласили поработать по совместительству. Я взяла два девятых класса и стала вспоминать лучшее, что было в уроках моих школьных учителей: Фейна, Раскольниковы...

Но получилось все, как в сказке: один класс оказался умный, а другой — дурак. В «умном» классе меня приняли, полюбили, даже были маленькие педагогические победы. А в другом классе на втором или третьем уроке дети спросили, когда я начну диктовать ответы на экзаменационные билеты. Я оторопела и заявила, что не собираюсь этого делать, что мы будем читать книги. Они не поверили и еще долго пытались из меня ответы на эти билеты вытянуть. А когда поняли, что от этой чокнутой проку не будет, то пожаловались родителям, а родители написали в РОНО (или в райком партии), а оттуда пришла директива разобраться. И хотя у нас со школой была договоренность, что я доведу оба класса до выпускных экзаменов, летом мне сказали: забирай документы, ты нам больше не нужна. Я расстроилась. Дети из другого класса мне звонили, и у меня было ощущение, что я их подвела.

Это было летом 1980 года, уже нехорошее было время.

В институте на пятом курсе у нас был преподаватель стилистики, который отвратительно разговаривал со студентами. Унижал, мог в лицо сказать гадость. Не мне. Но мне казалось оскорбительным сидеть в аудитории и выслушивать все это. И когда на одном из семинаров он особенно унижительно обратился к студентке, то я не выдержала, встала и сказала: «Послушайте, что вы себе позволяете? Мне стыдно находиться в этой ауди-

тории, и я аудиторию покидаю в знак протеста». И я вышла. И была уверена, что за мной пойдет полгруппы. По крайней мере, та девочка, за которую я заступилась. Но они — все до одного — остались. И эта девочка объяснила мне потом: тебе хорошо, а меня он потом на экзамене съест. Я пыталась ей объяснить, что если бы все ушли, никого бы он не съел, его бы просто от нас убрали. И в итоге я пошла в деканат, сказала, что заниматься с этим преподавателем не буду, и прошу перевести меня в другую группу или хотя бы разрешить сдавать экзамен другому преподавателю. Меня не перевели, но я к нему на занятия не ходила. Когда же я пришла к нему на экзамен, он удивленно спросил: «А что ж вы пришли? Я вам уже поставил! Вот ваша зачетка, все в порядке». Он меня боялся.

Наша компания была правозащитно настроена. Из нее потом много народу уехало. Меня тоже могло затянуть в эту воронку, но я вышла замуж и постепенно отошла от старой компании. Я понимала, что не могу подвести людей, с которыми живу в одном доме, но которые живут по другой логике. У нас дома происходили споры об оценке исторических личностей и исторических событий. Мне говорили, что я маленькая девочка и ничего не понимаю. Я старалась не ссориться, потому что мне казалось, что политика должна быть отделена от семейной жизни.

Сейчас мне кажется, что меня очень раздражало тогдашнее двоемыслие. Но, наверное, это неправда. Те, кого это действительно раздражало, уехали...

КНИГИ

Книги мы собирали. Купить хорошую книгу было практически невозможно. Пути доставания были разные.

Обязательно выписывали «Книжное обозрение», помечали, какие книги хотим найти. Если их было реально купить в магазине, то шли к открытию. Около входа в Дом книги на Калининском проспекте каждый день собиралась толпа, и каждый твердо знал, в какой отдел ему нужно попасть. Если в букинистический, то нужно было попасть в первую пятерку: тогда можно было успеть выловить хорошую книжку.

Другой способ доставания книг был открыт случайно. Мой брат — турист — объездил всю страну, и однажды, возвращаясь из похода по Па-

миру, оказался в Душанбе. И там, в магазине «Академкнига», лежали зеленые литературные памятники¹⁴⁵, никому не нужные. Он накопил много томов, и продавцы, увидев, что он интересуется такой литературой, предложили ему присылать им открытки «Книга — почтой», и они будут высылать в Москву эти памятники наложенным платежом.

И мы около десяти лет слали им по две открытки, получали по два комплекта отличных книг, а после их обменивали на те, которых у нас не было. Еще книги покупали на толкучках, на черных рынках.

Однажды за 50 рублей я купила на черном рынке мужу в подарок «Смерть Артура» Томаса Мэлори. Книга вышла в серии «Литературные памятники» очень маленьким тиражом, и найти ее в магазине оказалось невозможно.

Еще помню, как кому-то из близких делали операцию, и знали, что хирург собирает книги. Ему в подарок за 75 рублей была куплена то ли Ахматова, то ли Цветаева из «Библиотеки поэта». Книги были твердой валютой.

Иногда я перепечатывала то, что издавалось малыми тиражами: например, сборники Гумилева двадцатых годов. А самиздат не перепечатывала: боялась подвести людей, которые мне давали это читать.

СТУДЕНТ

Гальперин Леонид, 1957 года рождения. С 1975 по 1980 г. — студент Московского государственного университета им. Ломоносова.

Я учился на мехмате МГУ, жил в общежитии.

К нам иногда заходил некий человек, кто он был и откуда — не знаю. Человек этот предлагал свою систему попадания в театры.

Составляется список из сорока хороших знакомых, и вечером накануне предварительной продажи билетов один из студентов едет к кассе Таганки.

На предварительную продажу театром выделялось билетов тридцать. Студенту необходимо было оказаться первым у кассы. Конечно, после — ночью или ранним утром — к кассе подходили другие люди, одиночки, тоже за билетами, и их студент доброжелательно записывал в очередь. Но — под номером 41 и дальше. То есть у людей не оставалось ни малейшего шанса.

На всякий случай — если вдруг разразится скандал — был «припасен» свой инвалид (а инвалиды имели право на внеочередное приобретение билетов) или свой наряд милиции, дежуривший неподалеку. Всю организацию процесса обеспечивал тот странный человек из общежития.

Но все равно случались неприятности. Например, приходили другие студенты со своим списком из сорока фамилий — например, из Бауманского училища. И тогда надо было «пихаться» у окошка кассы. Кто кого отпихнет — тот и победил.

Я раза три так толкался. И когда мне оторвали рукав — все, вышел из «структуры». Но месяца три я на Таганку ходил, и все, что хотел, — посмотрел.

Хотя места даже на предварительную продажу театр выделял очень плохие...

ПРОЕКТИРОВЩИК-ГРАФИК

Ловен Валентина Николаевна, 1933 года рождения. С 1957 по 1971 год — проектировщик техотдела цеха приборостроения Государственного проектного института «Гипрожир». В 1971—1972 годах работала в Министерстве приборостроения. После — график в издательстве «Наука».

ОНА ВИДЕЛА СТАЛИНА

На демонстрации 1 Мая, после войны, наша колонна Ленинского района шла мимо Мавзолея, а я — школьница — маршировала в первом ряду. Вся площадь была в неизменяемом состоянии. Такого экстаза у меня

больше не было никогда, ни при каких обстоятельствах. И никакой ряби у него на лице я не заметила — это уж точно... Каждое утро просыпаешься — Иосиф Виссарионович... Ложишься — снова И. В. Сумасшествие полное.

Когда вышло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград»¹⁴⁶ — мы повторяли все, как попугаи. Мы были маленькие тогда... А в институте было уже посвободней: капустники делали, стенгазету выпускали... Хотя понимали, что нам чего-то недодают. Хотелось чего-то другого, более серьезного: например, в сарае на даче тайком слушали Армстронга по радио.

Конечно, возникали сомнения, что что-то не так. Люди возвращались из лагерей, я читала самиздат, слушала «Свободу», хотя ее глушили, конечно.

Страх? Был, конечно. Можно было потерять работу — а у меня двое детей...

После «Архипелага ГУЛАГ» (мне его дали на работе, французское издание) я три месяца ничего не могла читать — такое было сильное потрясение... Нет, с мужем я об этом не разговаривала — он редко бывал дома, все время в разъездах. Кроме того, сыновья хулиганили, меня все время в школу вызывали, и быт такой был трудный... Нам с мужем было о чем поговорить, но не о ГУЛАГе... Это стало очень сильным и глубоко личным потрясением...

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СТРАНЕ

Хотелось что-то изменить в жизни, но эта энергия направлялась на желание узнать больше о стране, в которой живешь. И мы путешествовали. Денег не было особенно, но — кто как мог.

Я занималась в профсоюзе экскурсиями. В нашем издательстве люди ездили по всему Союзу: в Среднюю Азию, в Армению, Грузию... Платили 30% стоимости — рублей 200 — и летели. Я помню, поехала в Пушкинский заповедник. В Михайловском были великолепные экскурсоводы, энтузиасты: у меня, взрослого человека, и то рот не закрывался от вос-

торга — такие подробности нам рассказывали. Даже о том, какое крыжовенное варенье тогда варили, и даже демонстрировали какое-то зеленое варенье, почти изумрудное.

Кроме того, в провинции всегда можно было купить хорошие книги.

Книги было достать очень трудно, и когда у метро в киоске появлялось хоть что-нибудь из серии «Школьная библиотека» — я сразу хватала. Так нашла «Записки охотника» Тургенева, Чехова, Пушкина, Лермонтова... Вот Батюшкова можно было найти только в серии «Классики и современники», в мягкой обложечке... Потом киоскеры уже тебя знали, откладывали книги. Так я «Мертвые души» купила...

Читали журналы толстые: «Звезду», «Новый мир», «Иностранку». Помню, Ремарка вырезала и переплетала.

Мы дарили книги друг другу, это считалось очень престижно. Рядом с нами было издательство «Мысль», и им давали возможность немножко заработать: у них можно было купить книгу Волкова про «Урфина Джюса» или «Приключения Буратино» с изумительными картинками Леонида Владимировского. Его Буратино — самый симпатичный из всех... Подарочными были пушкинские сказки или книги с иллюстрациями И. Билибина: «Гознак» издавал такие тоненькие книжки с тиснением, по 10 рублей¹⁴⁷. Потом, в восьмидесятые, появились художественные альбомы: «Британский музей», «Лувр»... Они были очень дорогие. Такие альбомы дарили вкладчину, на юбилей.

Окольными путями узнавали, какие книги есть у человека — и дарили ему, чего у него не было.

До войны был издан тоненький «Мифологический словарь». После войны его переиздали, но уже большим объемом, и стоил он очень дорого: 350 рублей. Я попросила у одной нашей художницы довоенный словарь на несколько дней: сыновьям нужно было для школы. А когда пришло время возвращать книгу, то не смогла ее найти. Решила, что кто-то стащил у ребят... И я купила новый словарь за 350 рублей — шикарный, с цветными иллюстрациями... И отдала его — за ту книжечку... Женщине было неудобно, но она все равно взяла. А как же? А тот, довоенный, я потом нашла...

РАССКАЗЫ О ХУДОЖНИКАХ

В середине шестидесятых в Третьяковской галерее организовали цикл лекций о художниках, читала их искусствовед Елена Алексеевна Лебединская. Пожилая женщина, с подагрой... Она рассказывала, как они пробовали сами составлять краски для икон: сырой желток нужно сутки из ладони в ладонь перекачивать — тогда не было термостатов. Она была интереснейший человек, из семьи профессоров: у нее был чудесный русский язык. Речь как ручей журчала, слушаешь ее — и упиваешься. Ее иногда заменяли и кандидаты, и доктора искусствоведения, но у них язык сухой, академический, не звучит. А у нее — литературный, гармоничный. Без нее мы замечали на картине только процентов десять. Я на всю жизнь запомнила, как она рассказывала о Сильвестре Щедрина, Иванове, Верещагине...

На эти лекции мы ходили два года, раз в три недели. Это не было обязателькой и никак специально не поощрялось, но люди — пожилые, семейные — шли после работы, сидели, конспектировали, слушали... А потом надо было приезжать домой, готовить еду, хозяйство вести...

Однажды в Военторг завезли итальянские женские костюмы по 120 рублей (зарплаты были 140—160 руб, начальник отдела получал 250). Все помчались и, заняв денег, купили эти костюмы. Причем мерить не давали, выбирать цвет не давали — какой сунут в руки, какой достанется, тот и хорош. Все нахватили этих костюмов, а потом несколько недель на работе в туалетах меряли, менялись. Кому юбка узка, кому блузка оказалась широка...

ДЕНЬ ПРОСТОЯТЬ, И НОЧЬ ПРОДЕРЖАТЬСЯ

Люди ночами стояли, чтобы попасть на выставку Тутанхамона¹⁴⁸. А мы с ребятами подходили ближе к утру, стояли — и к обеду уже разглядывали этих скарабеев: священные египетские жуки, сделанные из камня. Меня потом на работе спросили:

— А ты знаешь, как по-русски «скарабей»?

— Ну как... Навозный жук.

— Ан нет! В старом словаре написано: «жук-говняга»...

А люди ночи напролет стояли, чтобы глазком взглянуть...

И на «Сикстинскую мадонну»¹⁴⁹ ходила смотреть, но тогда я ее не поняла. Она показалась мне просто миловидной женщиной... Но когда после, в Германии, я прошла анфиладу комнат, там налево — направо «Мадонны» Коро, а потом — она... Вот там — грандиозное впечатление произвела...

СЛУХИ ВМЕСТО КРИТИКИ

Когда критики вдруг начинали разносить какой-нибудь спектакль — читать это было очень неприятно. Поэтому мы старались критику вообще не читать и внимания не обращать. А в театры шли на те спектакли, о которых проходил слух. Кто-то на работе пойдет, потом все обсуждают. Так, например, было со спектаклем «Старый новый год»¹⁵⁰.

Помню, как в Москву приехал Венский балет. Дамы в кринолинах, фижмах танцевали под Вивальди. Билеты были очень дорогие, но меня пригласили...

А еще помню прекрасный «Мандат» в 1956 году, в Театре-студии Киноактера¹⁵¹. Там картина висела: с одной стороны Карл Маркс, с другой — Иисус Христос. А герой — его Гарин играл — смотрит в дырочку и переворачивает то туда, то сюда. И я половину текста не могла услышать, потому что в зале стоял гомерический хохот. Тогда прошло несколько спектаклей — и «Мандат» сняли.

Еще помню, как зал рыдал от хохота — люди просто разрывались — на показе фильма Чаплина «Новые времена». Мы поехали смотреть этот фильм куда-то очень далеко: за Соколом, за железной дорогой был какой-то Дом культуры... Кто-то узнавал, где идут хорошие фильмы — и все туда неслись... Так и на Тарковского бегали. Очень хотелось посмотреть...



1)

Владимир Васильев, 1980-е



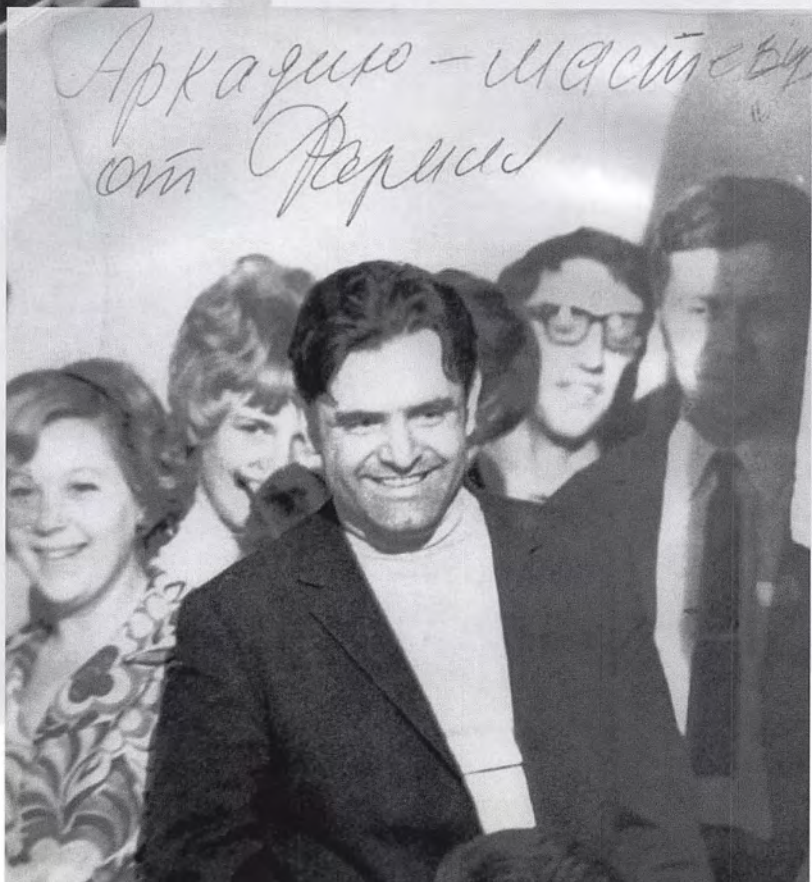
2)



Сергей Образцов, октябрь 1970



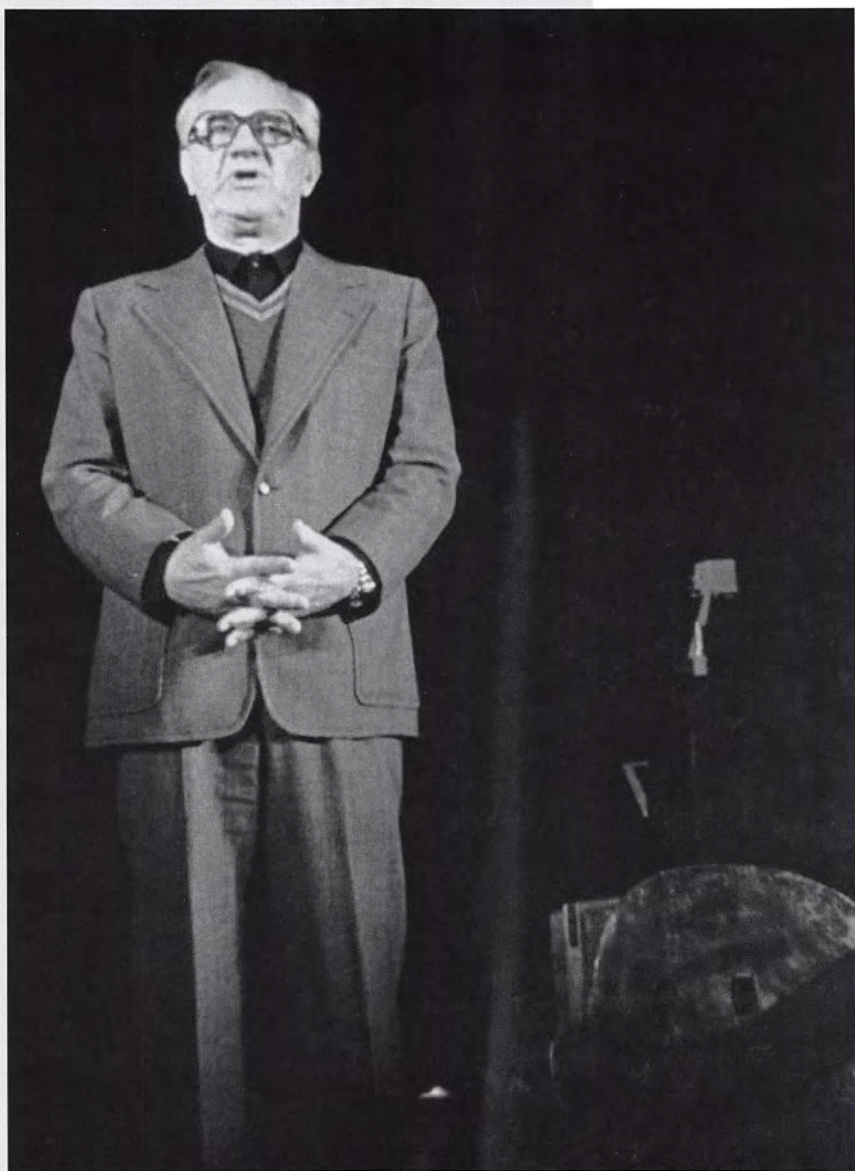
Чингиз Айтматов в МЭИ,
март 1970



Фазиль Искандер,
1969



Олег Ефремов и академик Алексей Абрикосов, получивший в 2003 году Нобелевскую премию по физике



6)

Борис Покровский, январь 1981



Сергей Никитин, 1978

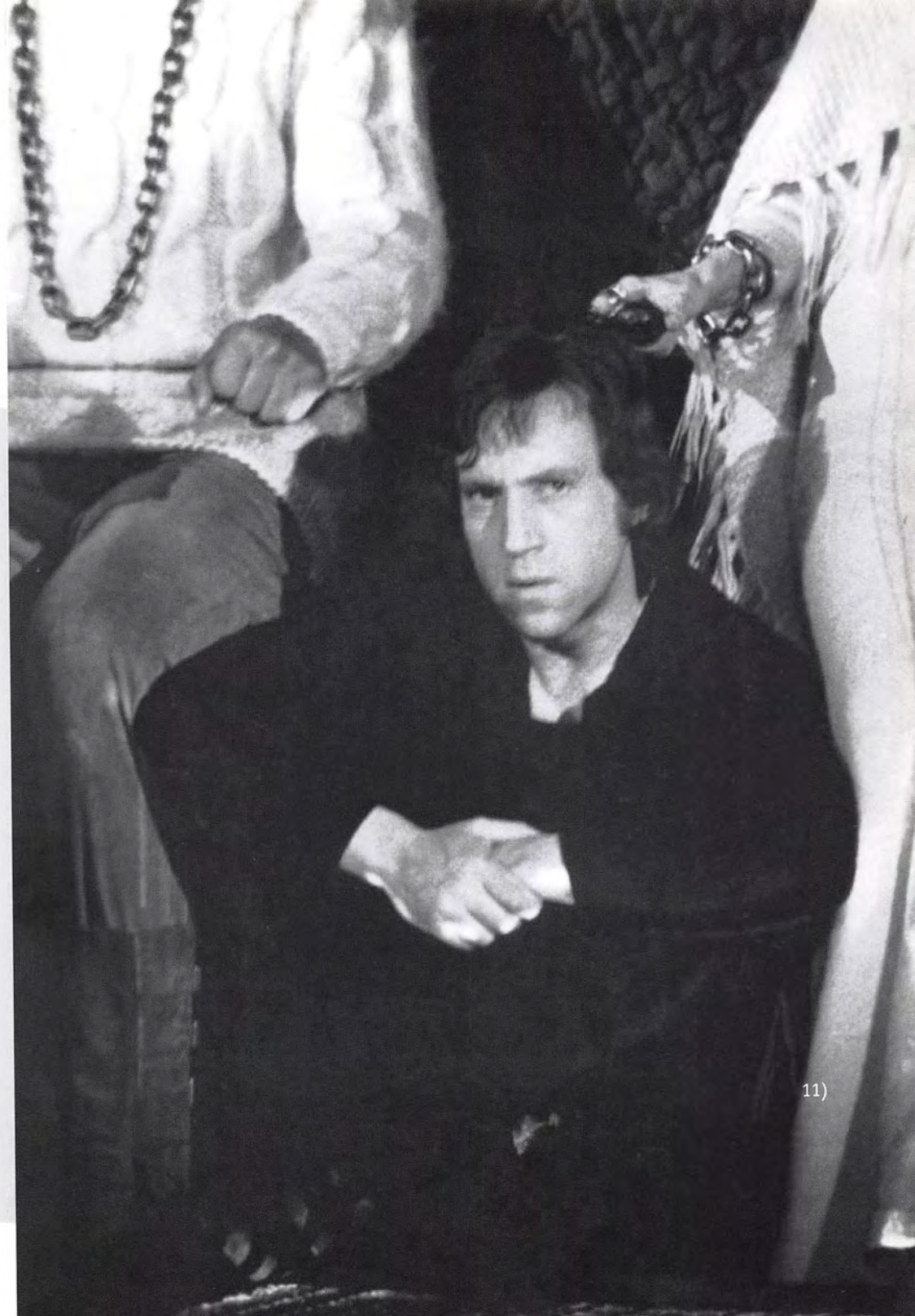


Театр драмы и комедии на Таганке, "Гамлет".
Владимир Высоцкий, Вениамин Смехов





Театр драмы и комедии на Таганке, "Гамлет".
Алла Демидова, Владимир Высоцкий





12)



Театр драмы и комедии на Таганке, "Добрый человек из Сезуана". Зинаида Славина, Борис Хмельницкий

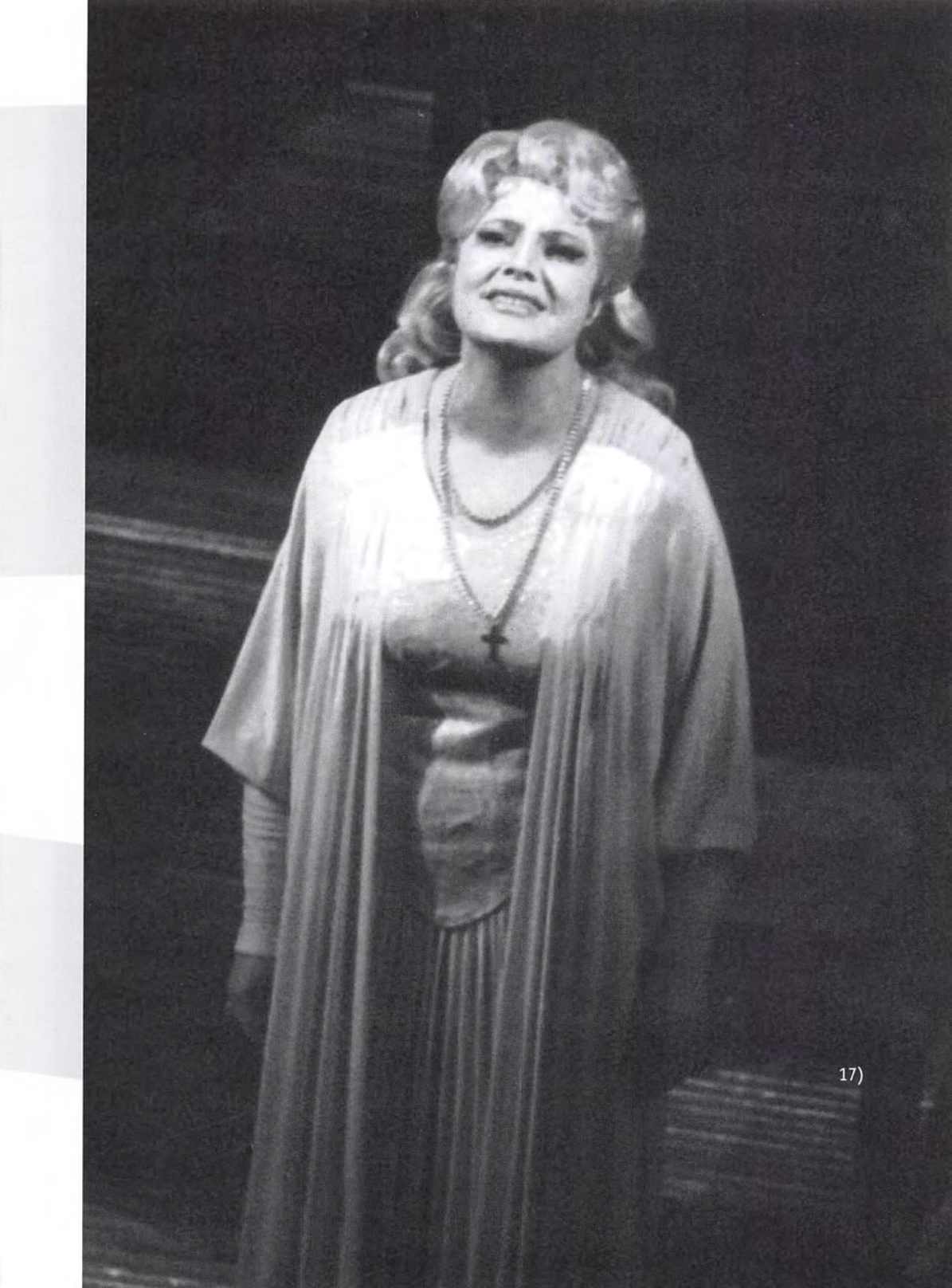




МХАТ им. Горького, "Медная бабушка". Олег Ефремов, Евгений Евстигнеев



Театр им. Маяковского,
 "Да здравствует королева,
 виват!" Татьяна Доронина,
 Борис Химичев, Армен
 Джигарханян







19)

МХАТ им. Горького, "Чайка".
Анастасия Вертинская, Татьяна Лаврова



Театр им. Евгения Вахтангова, "Наполеон I".
Михаил Ульянов, Ольга Яковлева







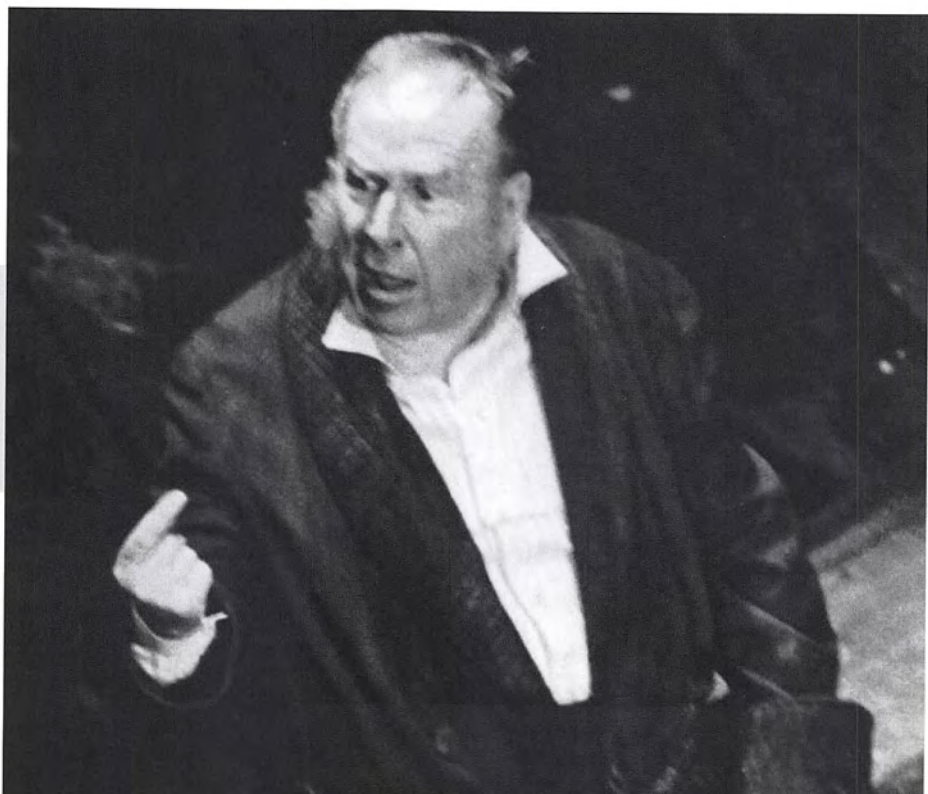
Театр на Малой Бронной, "Дон Жуан". Михаил Козаков,
Леонид Каневский, Леонид Броневой, Ольга Яковлева







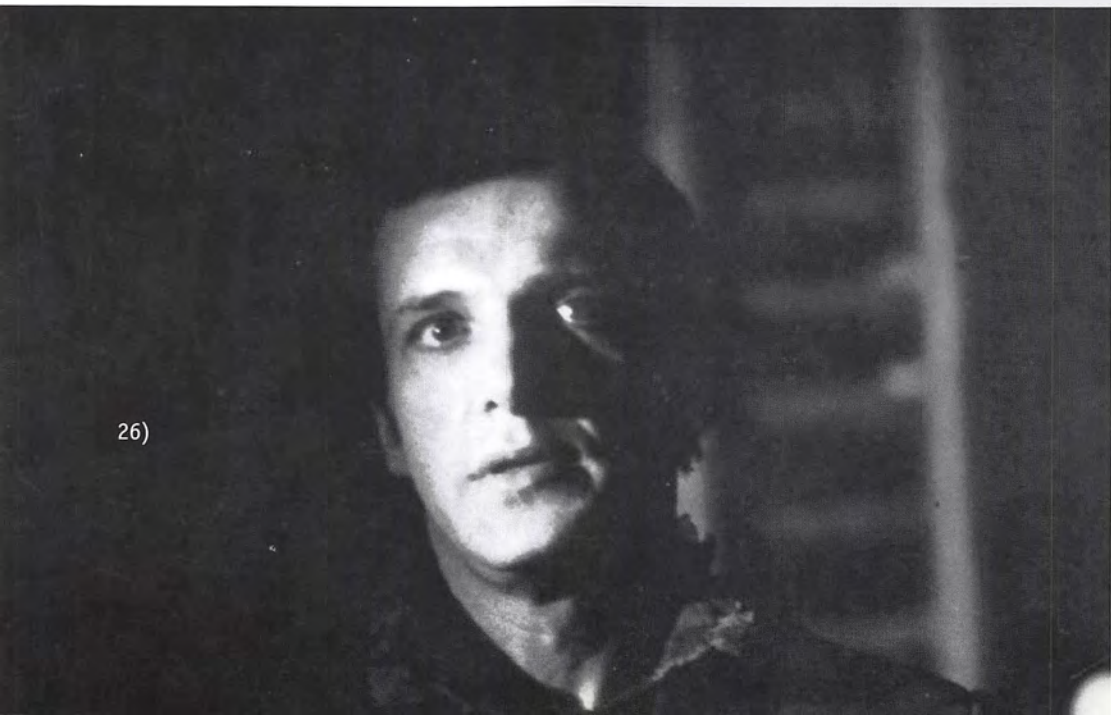
Театр им. Моссовета,
"Братья Карамазовы".
Георгий Тараторкин,
Ростислав Плятт, Ирина
Муравьева, Нелли Пшенная







Театр им. Станиславского, "Сирано де Бержерак".
Алла Балтер, Эммануил Виторган, Владимир Коренев







Театр "Современник", "А поутру они проснулись".
Петр Щербаков, Олег Табаков



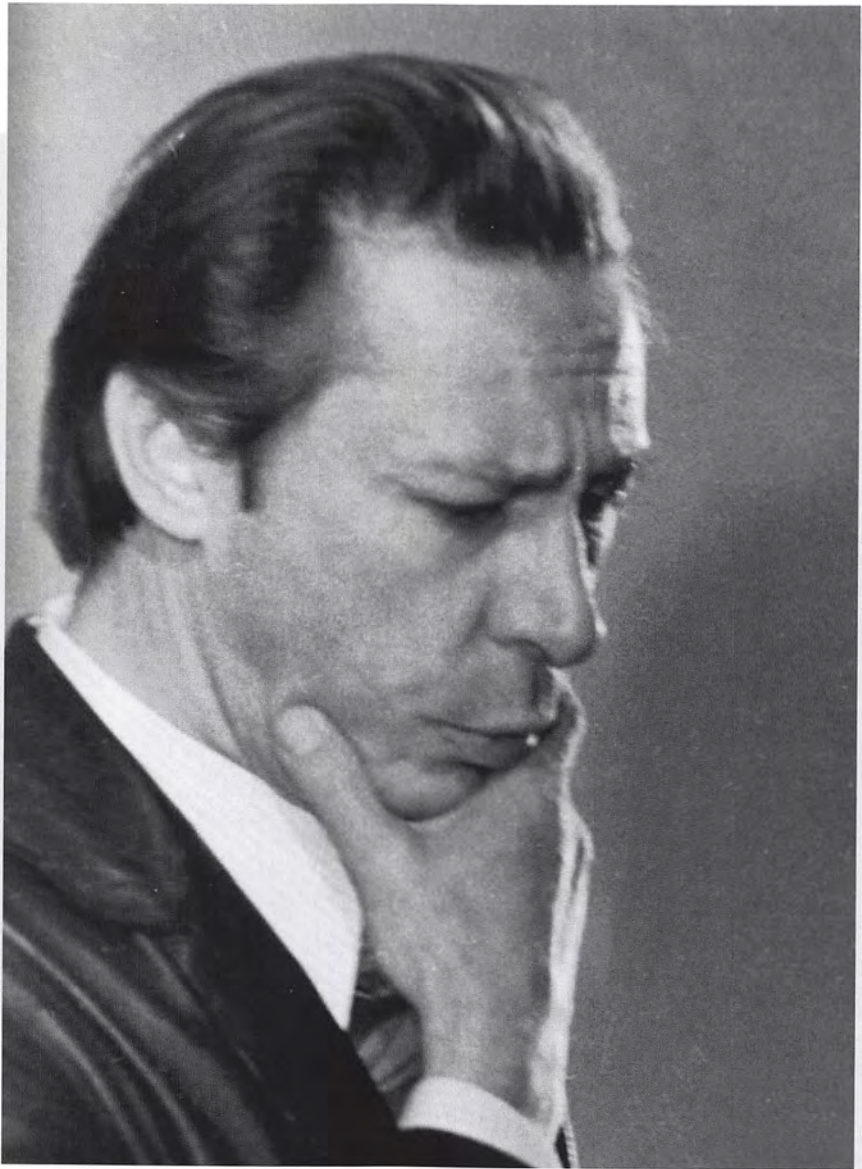
Театр
"Современник",
"Генрих IV".
Валентин Гафт







Театр "Современник", "Лоренцаччо".
Константин Райкин, Михаил Жигалов



32)

Олег Ефремов, 1970-е

Шапиро Надежда Ароновна, 1949 года рождения. С 1970-х годов работает в московских школах.

У меня было несколько способов попасть на Таганку. Например, был знакомый художник-передвижник — он устанавливал, передвигал в театре декорации. Около театра был какой-то заборчик, в нем — дверца. И художник говорил мне: дверца будет открыта пять минут, например, с 17.30 до 17.35. Если я успевала подойти к этому времени, то незаметно проскакивала в служебное помещение театра и смирно сидела среди декораций до тех пор, пока не начнут пускать зрителей. После этого бродишь по фойе, а когда открываются двери в зал, быстро-быстро бежишь к будке осветителя, потому что оттуда лучше всего видно. Кроме того, там был такой барьерчик, на который можно было опереться.

Однажды я стояла около этой будки, и осветитель вдруг предложил мне пройти внутрь. Шел спектакль «Под кожей статуи Свободы» по Евтушенко¹⁵², и было ощущение, что будка эта висит прямо над сценой. И я курила! Потому что мне разрешил осветитель — он и сам курил во время спектакля...

Еще, если везло, можно было купить билеты в метро, в театральных кассах. Мой папа умел говорить с нахальным украинским акцентом и часто разыгрывал приезжего. И ему почему-то продавали в кассах хорошие билеты, правда, с нагрузкой.

Можно было и приезжать с вечера, стоять в очереди, отмечаться... Мой младший брат Мишка так и делал во время зимних каникул — ему очень хотелось на Таганку. А у Мишки была шапка с козырьком, а не ушанка, и кончилось тем, что он отморозил себе уши в этих зимних ночных очередях. И уши у него стали красные и толстые. А в театр он так и не попал, потому что утром приходили совсем другие люди, и выяснялось, что все билеты — их...

Однажды мы с братом пошли на «Тартюфа»¹⁵³: мы надеялись взять билеты из невыкупленной брони. Но на бронь было всего три билета, и давали по одному в одни руки, а не по два, как обычно. И Мишка был вторым в этой очереди, ему достался один билет. Он растерялся и все спрашивал меня: «А ты-то как пройдешь?!» Я кричала ему: «Иди! Иди!», а все вокруг подначивали: «Молодой человек, нельзя даму оставлять одну, продайте нам свой билет»... И он продал свой билет и вышел ко мне. Я плакала...

Но через несколько недель я стрельнула-таки два билета на этот спектакль, и мы с Мишкой все-таки сходили...

У меня был ухажер, знакомый с космонавтом. И этот космонавт давал другу свое космонавтское удостоверение, по которому можно было покупать билеты. Так я посмотрела спектакли в Большом и в «Современнике». Но, к сожалению, не одна, а с другом космонавта.

И никогда не приходило в голову, что можно смотреть спектакль, комфортно устроившись в кресле. Например, где-нибудь в партере... Помню, как смотрела «Макбета» с Полом Скофилдом¹⁵⁴, зависнув где-то сбоку и держась одной рукой за поручень, чтобы не свалиться вниз, на головы других зрителей. А в Большой мы часто покупали билеты на такие места на самом верху, с которых тебе видно сцену, только если ты, разувшись, станешь на сиденье и, держась за кого-нибудь, высунешься сильно вперед.

КОНСЕРВАТОРИЯ

Можно было попасть на хороший концерт, если у тебя был абонемент. Иногда в абонементе обозначалось, что, например, один концерт будет играть Рихтер. А два других — Пупкин и Тапкин. Так вот, если ты не ходил на Пупкина и Тапкина, но у тебя был знакомый администратор, то можно было у него «подписать» абонемент: администратор расписывается на двух неотрезанных талончиках Пупкина-Тапкина, и еще два человека могут пройти с тобой на Рихтера. Но такое бывало очень редко.

Я ходила в консерваторию не очень часто и, к сожалению, не очень продуктивно. В консерваторию плохо ходить в рабочие дни. Все первое

отделение я все равно «на работе»: сижу и думаю, почему Мартынов подрался с Барановым... Театр берет сразу, сильнее, а чтобы слушать музыку, надо заранее готовиться, «опустошить» голову, что мне совершенно не удавалось.

Я знала одну женщину, которая, живя в коммуналке, вывешивала на дверях объявление: «Прошу не беспокоить, вечером иду в филармонию».

ГРЯЗНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ РАБОТА

Я часто с учениками ходила на работы по восстановлению памятников. Не потому, что так уж люблю эти памятники. Мне хотелось, чтобы мои дети делали что-то грязное и полезное. В «Московском комсомольце» обычно печатали объявление: куда и во сколько приглашаются добровольцы, называлась фамилия ответственного за мероприятие. Мы работали в Доме Зубова, Крутицкое подворье всегда к себе звало. Мы были разнорабочими: обкапывали, выкапывали... Однажды нас позвали снег расчищать — ну и что, тоже полезно. После был чай с булочками, самыми обыкновенными, из магазина. Иногда показывали слайды, что-то рассказывали. Но почти всегда все было очень по-человечески.

А в Донском монастыре дали однажды какую-то картонку: мол, мы теперь — члены чего-то там. Было совершенно непонятно, зачем...

Муж одной моей знакомой шулки ради написал несколько стихотворений и отправил их в журнал «Дружба народов». В письме он сообщил также, что он — латышская поэтесса, которая, однако, сочиняет по-русски.

«Поэтесса» стала популярной, и ее стихи печатались в 1972—1974 годах в этом журнале...

САМИЗДАТ

Мы перепечатывали стихи на машинках. Например, «самодельного» Мандельштама мы собирали из сорока источников. Какие-то книжки привозили из-за границы, кто-то давал фотокопии. Я помню, что ужасно трудно было понять некоторые слова на фотографиях, и мы раздража-

лись... Причем машинки своей не было, и мы брали у друзей «Ундервуд», он был тяжелый очень.

«ГУЛАГ» мне достался, когда я была беременна. Это был полный ужас. Я понимала, что мне нельзя это читать, потому что ребенку вредно, и что я должна это читать, потому что это нужно моему ребенку. Это были неразрезанные типографские листы, на каждом — 16 маленьких страничек...

Читать давали всегда друзья, и всегда ненадолго. И я конспектировала. Так, ко мне пришел журнал со статьей Аркадия Белинкова «Поэт и толстяк» с предисловием Чуковского¹⁵⁵. А мне в это время нужно было готовиться к экзамену по истмату, и там тоже надо было много конспектировать. Но я законспектировала Белинкова. А потом законспектировала его же книжку про Тынянова¹⁵⁶. Всю. А на истмат наплевала.

У нас тоже хранились какие-то запрещенные книги. У мужа был друг из общины о. Александра Меня, его арестовывали. И у нас на даче хранился «Сын человеческий» А. Меня в рулоне. А теперь все это уже издано десять тысяч раз...

В 1972 году мне дали прочесть чешские листовки. Я дала их почитать своей директрисе, Лидии Васильевне. Она была очень хорошая баба, коммунистка, и очень всем этим интересовалась. Искренне. Она хотела знать. Правда, очень боялась и все время конспирировалась.

Лидия Васильевна вызвала меня в кабинет, вернула мне листочки. А вечером я не смогла их найти: был тяжелый день, я ходила с классом, после была зарплата... В поисках листовок я пробежалась по классам, заглянула во все парты, наврав про что-то ювелирное... Но листовок нигде не было. Стало очень неприятно. Я решила сказать о потере директрисе.

Она перепугалась, побледнела, велела никому ничего не говорить. А на другой день вызвала меня к себе и стала пихать мне за пазуху эти листовки. Оказалось, что я их оставила рядом с медкабинетом, когда получала деньги. Листовки подобрала медсестра и отнесла директрисе, сообщив, что нашла странные нехорошие бумажки.

Лидия Васильевна догадалась, тут же «сделала лицо» и сказала, что это дело государственной важности и что если Нина Владимировна кому-

нибудь про это расскажет, то несдобровать и директрисе, и самой Нине Владимировне. Медсестра поклялась молчать. А Лидия потом вызвала меня и спросила: «Ты мне еще будешь что-нибудь давать?»

Книги, которые давали ненадолго, очень хотелось читать в транспорте. И знаешь, что нельзя, а все равно тянет. И все так делали: времени-то мало. И всегда таких людей было видно. Было даже такое развлечение: сесть рядом с таким читателем и коситься в его книжку. Человек отгораживается, прикрывает книгу, но окончательно не закрывает и почему-то не пересаживается: книгу-то дали совсем на чуть-чуть... И вот эти корчи человека рядом с тобой... Ты-то точно знаешь, что он в безопасности. Но он-то этого не знает...

ПАПА

Папа всегда был очень доверчивым читателем. Я помню, как мы ругались с ним после статьи Жюрайтиса о «Пиковой даме» в постановке Любимова¹⁵⁷. Папа повторял: «Они надругались над нашим Чайковским!» Как надругались? Добавили партию гобоя и что-то сократили? Но так делают все и всегда...

Моя комната не закрывалась, и папа часто находил у меня на столе самиздатовские листочки. И уничтожал их. И что я могла потом сказать людям? Что я не могу вернуть вам письмо Владимова, например, потому что папа спустил его в унитаз?

Но однажды папа перепрыгнул через себя и подарил мне на день рождения ксерокс статьи Мережковского о Тютчеве и Некрасове¹⁵⁸.

УРОКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Я приносила какой-нибудь самиздат в школу и давала одному учителю: «Читай!» А он говорил: «Мне и так тошно, убери!» И я стала думать, для чего мы это все читаем... Один мальчик очень хорошо сказал: «Когда я читаю, я чувствую себя свободным».

Мы знали, в какой игре мы принимаем участие. Но идеи борьбы не было, и на вопрос, доживет ли СССР до какого-то года, ответ звучал: «Доживет и переживет». Никакого ощущения, что хоть что-то может измениться, у нас не было.

Я аккуратно пересказывала детям Надежду Яковлевну¹⁵⁹. Не всем, и только на факультативе. И боялась, потому что не понимала: зачем я это делаю с детьми, они же жили спокойно, вопросов не задавали... И я не сплю ночь, а на следующий день прихожу и говорю, мол, вчера я вас напугала, замучила... А они: «Да мы все понимаем, Надежда Ароновна, мы делим на десять!» И я опять сержусь, потому что не хочу, чтобы они делили на десять... А один мальчик не делил на десять и попал в Склиф. Попытка суицида.

Сказать, что мы жили в непрерывном кошмаре, я не могу. Я не была птицей, которая бьется о прутья клетки. Но были правила игры. Местами бывало очень противно, но было понятно, что ничего другого никогда не будет. Например, о нас судили не по тому, что мы говорили, а по тому, что мы не говорили. Например, говорила слово «Бог» на уроках по Достоевскому и тут же не поясняла, что Бога нет.

В 1982 году я работала в очень идеологизированной английской школе. Мы читали рассказ Бабеля «Письмо» из «Конармии». И я спрашиваю у детей: «Что это такое? Это правда, ложь? Это мог написать белогвардеец?» Дети были потрясены. А один мальчик сказал: «Может, это и правда, но такая правда нам не нужна».

В этой же школе парторг мне сказал:

— Н. А., про вас дети говорят, что вы воспитываете у них двурушничество.

— ?!

— Вы объясняете детям, как говорить на экзамене, а потом рассказываете, как было на самом деле.

А там директор приглашал к себе в кабинет старшеклассников чай попить и поговорить «по душам», «без учителей»: мол, какие претензии и т. д. И они на это ловились...

ПОЛИТИКА

В школе время от времени нужно было проводить политинформации. Организатор внеклассной работы и учитель труда Юрий Александрович научил меня, как это делать, не напрягаясь. Берешь газету, лицо при этом никакое, и читаешь с любого места (причем не обязательно с абзаца или даже с большой буквы). Ровно через пять минут произносишь: «Ну вот, в общем-то, и все».

Раз в месяц для учителей проводились политзанятия. После них полученные политические знания полагалось доводить до сведения учащихся. И вот прошел очередной пленум, с учителями провели занятия. Я захожу в класс и, как положено, сообщаю: «А сейчас я с вами поговорю про пленум...» Мальчик (доброжелательно): «Только дверь закройте!»

ПОЕЗДКА ЗА РУБЕЖ

В 1978 году я должна была с классом ехать в Чехословакию. Предварительно нужно было сдать в райком ВЛКСМ список тем десяти бесед, проведенных с детьми.

Я помню: сидят 15 толстых людей. Смотрят список: «А что это такое? Тут что, кто-то учитель литературы? Да, по этому плану сочинение не напишешь... Ну что это за тема: «60 лет ВЛКСМ»? Надо писать: «60 прекрасных лет». Что это — «Москва готовится к Олимпиаде»? Надо: «Олимпийские объекты города Москвы»

Я молчала, а моя директриса: «Мы учтем все ваши замечания!» — и мы выбежали, схватили такси, примчались домой, все быстро перепечатали и успели обратно с новым списком уже к концу заседания.

С коммунистами было проще. Меня спросили про договор о дружбе и сотрудничестве, ответом было что-то про то, как «мы в Праге строим метро». Больше я ни на один вопрос не ответила, стояла и улыбалась. Но в итоге все проголосовали единогласно «за».

В Прагу мы попали как раз на десятилетие событий. 20 августа детей специально увезли из Праги в Карловы Вары: организаторы боялись, что школьники станут свидетелями демонстраций... И я тоже этого боялась, потому что пришлось бы многое им объяснять.

И вот вечером мы возвращаемся, и вдруг под окнами нашей гостиницы — толпа, чешские флаги, что-то скандируют. Сердце опускается: «Вот оно...» Мы прислушались. За окном раздавалось что-то вроде: «Дукла не пукла!» Оказалось, что это фанаты какой-то чешской команды «Дукла», которая остановилась в той же гостинице. А «не пукла» означает что-то вроде «не проиграет»...

ВАЖНЫЕ СТИХИ

В 1977 году, когда была принята брежневская конституция, каждый учитель должен был оформить классный уголок. И вот в газете я вычитала стихи о Конституции, выучила их наизусть и переписала их в стенгазете. И все учителя приходили и переписывали эти стихи для своих классных уголков.

Закон Державы. Он дает мне право
На все, чем жизнь от века хороша:
На это солнце, и на эти травы,
На эти песни, что поет душа...

Есть и другие стихи из этой же серии. Автора, к сожалению, не помню.

Доброта необходима людям
Как земле — весенние дожди,
Если все мы с вами злые будем,
Коммунизма лучше и не жди.

примечания

¹ «Метрополь» — литературный альманах, вышедший в самиздате в 1979 г. Среди авторов — В. Аксенов, Б. Ахмадулина, Ф. Искандер, Е. Рейн и др.

² В сентябре 1972 г. в Монреале сборная СССР выиграла матч против сборной Канады со счетом 7:3. Канадцы уехали со льда, не пожав руки соперникам. Канадский журналист Дик Беддоуз обещал съесть свою статью, если русские выиграют хотя одну встречу. И сдержал обещание.

³ Погоржельский Дмитрий — журналист, сын засл. артиста СССР М. Б. Погоржельского (1923—1995) и нар. артистки РФ И. П. Карташевой (род. 1922).

⁴ Суркова Ольга Евгеньевна — киновед, автор книг об Андрее Тарковском.

⁵ «Турбаза» — спектакль театра им. Моссовета. Пьеса Э. Радзинского. Постановка А. Эфроса (1974). В ролях И. Соколова, М. Неелова, Н. Пшенная, Р. Плятт и др.

⁶ Дом творчества Союза театральных деятелей.

⁷ Главлит — Главное управление по делам литературы и издательств. Одобрение Главлита было обязательным условием для публикации художественного текста, для постановки театром пьесы и т. п.

⁸ В 1968 г. журнал «Байкал» напечатал фрагменты из книги А. Белинкова о Ю. Оле-ше (отрывки из главы «Поэт и толстяк») и роман А. и Б. Стругацких «Улитка на склоне».

⁹ Засурский Ясен Николаевич, декан факультета журналистики МГУ.

¹⁰ Горбунов Матвей Алексеевич, «Мотя» — легендарный ректор ГИТИСа.

¹¹Московская Хельсинкская группа (МХГ) — правозащитная организация, создана в Москве в мае 1976 г. Инициатором и первым руководителем МХГ стал известный физик, член-корреспондент Академии наук Армянской ССР, профессор Ю. Орлов. 1 августа 1975 года завершилось проходившее в Хельсинки совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором принимали участие главы всех европейских государств (за исключением Албании), а также США и Канады. Советское руководство, подписав Заключительный акт этого совещания, приняло на себя обязательство придерживаться международных стандартов в области прав человека. Московские правозащитники пришли к идее создания независимых от правительств общественных объединений по контролю за выполнением гуманитарных статей Хельсинкских соглашений.

¹² «Хроника текущих событий» — машинописный информационный бюллетень правозащитников, выпускавшийся ими в течение 15 лет, с 1968 по 1983 г. Всего за это время вышло 63 выпуска «Хроники».

¹³ Выставка в ГМИИ им. А. С. Пушкина, прошедшая в 1974 г., «Живопись импрессионистов из Национальной галереи в Праге и собраний ГМИИ и ГЭ. К 100-летию первой выставки французских художников-импрессионистов (1874—1974)».

¹⁴ Имеется в виду пресловутый «пятый пункт» в анкетах — национальность. Если там было написано «еврей», то на практике это отзывалось частичным поражением человека в правах.

¹⁵ «Гамлет», постановка Н. Охлопкова (1954). В главной роли Е. Самойлов.

¹⁶ «Двенадцатая ночь», постановка П. Джеймса (1978). В ролях А. Вертинская, М. Неелова, О. Табаков и др.

¹⁷ Ричард Юз. Домашний лечебник по гомеопатии. СПб. 1895.

¹⁸ Спектакль театра им. Вахтангова «Ричард III» (1976). Постановка Р. Капланяна. В главной роли М. Ульянов.

¹⁹ Роман В. Аксенова.

²⁰ «Апокалипсис сегодня» (1979 г., реж. Ф. Ф. Коппола). «Охотник на оленей» (1978 г., реж. М. Чимино).

²¹ Имение Е. А. Арсеньевой, бабушки М. Ю. Лермонтова, где прошло детство поэта.

²² Спасское-Лутовиново — имение И. С. Тургенева. Ясная поляна — имение Л. Н. Толстого.

²³ Совещание по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе.

²⁴ Громыко Андрей Андреевич (1909—1989), государственный деятель, дипломат. В 1957—1985 годах министр иностранных дел СССР. В 1973—1988 член Политбюро ЦК КПСС. В 1985—1988 годах председатель Президиума Верховного Совета СССР.

²⁵ Сэр Исайя Берлин (1909—1997) — философ и дипломат. Родился в Риге, жил в Великобритании.

²⁶ Сурков Алексей Александрович (1899—1983), русский поэт.

²⁷ «Инициативная группа по защите прав человека в СССР» — неофициальное объединение правозащитников, образованное в мае 1969 года. В группу входили Т. Великанова, Н. Горбаневская, В. Красин, А. Лавут и др.

²⁸ Григоренко Пётр Григорьевич (1907—1987), правозащитник, публицист, генерал-майор (1959). Участник Великой Отечественной войны (командир дивизии). В 1961-м за критику Н. С. Хрущева переведен на Дальний Восток. В 1963-м создал «Союз борьбы за возрождение ленинизма», в 1964-м лишен звания, наград и пенсии. В 1964—1965, 1969—1974 годах подвергался арестам и принудительному лечению в психиатрической больнице. С 1977 года в США.

Джамилёв Мустафа (род. 1943) — правозащитник, диссидент. Впервые был арестован в 1966 году. В 1969-м вошел в Инициативную группу по защите прав человека в СССР. В 1970 году вновь арестован. Еще год лагеря получил в 1974 году. В лагере ему «повесили» новый срок — «за клевету на советский строй». В знак протеста объявил голодовку. Спустя чуть больше года после освобождения снова арестован (1979) за нарушение административного надзора (после лагеря находился в ссылке, задержан в аэропорту в день окончания срока). Получил еще четыре года ссылки и арестован в шестой раз в 1983 году. На этот раз его приговорили к трем годам магаданского лагеря. В 1989 году переехал вместе с семьей в Крым.

²⁹ «Десять дней, которые потрясли мир» — спектакль Театра драмы и комедии на Таганке. По мотивам книги Дж. Рида. Режиссер Ю. Любимов. В спектакле участвовали все актеры театра.

³⁰ «Добрый человек из Сезуана» — спектакль Театра драмы и комедии на Таганке. Пьеса Б. Брехта. Постановка Ю. Любимова. В ролях З. Славина, В. Высоцкий, Г. Ронинсон, В. Золотухин и др.

³¹ «Цирк» — фильм Г. Александрова (1936). В главных ролях Л. Орлова, С. Столяров.

³² Выставочный зал на Малой Грузинской улице.

³³ Так называемая «бульдозерная выставка» художников-нонконформистов прошла 15 сентября 1974 года на пустыре в Беляево. Художники были разогнаны, часть картин уничтожена бульдозерами.

³⁴ Спектакль «Дальше — тишина» театра им. Моссовета. По пьесе В. Дельмара. Перевод с английского и сценическая композиция К. Рапопорта. Постановка А. Эфроса. В ролях Ф. Раневская, Р. Плятт.

³⁵ Спектакль «Милый лжец» по пьесе Дж. Килти театра им. Моссовета. Постановка Г. Александрова. В ролях Р. Плятт, Л. Орлова.

³⁶ Спектакль «Мастер и Маргарита» М. Булгакова Театра драмы и комедии на Таганке. Сценическая композиция В. Дьячина и Ю. Любимова. Постановка Ю. Любимова. В ролях Д. Щербаков, В. Смехов, Н. Шацкая, И. Дыховичный и др.

³⁷ Отгулы (оплачиваемые внеплановые выходные) давали за работу в личное или в рабочее время в колхозах, на овощных базах, за участие в демонстрациях.

³⁸ См. сноску ¹².

³⁹ Горбаневская Наталья Евгеньевна (р. 1936) — поэт, правозащитник. Участник демонстрации протеста на Красной площади в 1968 г. (против вторжения советских войск в Чехословакию). В 1975-м уехала из СССР.

⁴⁰ Литвинов Павел — правозащитник, диссидент. Участник демонстрации на Красной площади 1968 г.

⁴¹ Протоиерей Всеволод Шпиллер (1902—1984), проповедник и богослов. С 1951 г. по 1984 г. — настоятель храма св. Николая в Кузнецях г. Москвы.

⁴² Юдина Мария Вениаминовна (1899—1970), пианистка, педагог, философ.

⁴³ Митрополит Антоний Сурожский (в миру Андрей Борисович Блум, 1914—2003). Получил широкую известность не только в Великобритании, но и по всему миру как пастырь-проповедник.

⁴⁴ «Юнона и Авось» — спектакль Театра им. Ленинского Комсомола. Музыка А. Рыбникова, либретто А. Вознесенского. Постановка М. Захарова. В ролях Н. Караченцов, Е. Шанина, А. Абдулов и др.

⁴⁵ См. сноску ³⁴.

⁴⁶ «Соло для часов с боем» — спектакль МХАТа им. Горького. Пьеса О. Заградника. Постановка О. Ефремова и А. Васильева. В ролях А. Грибов, М. Яншин, О. Андровская, М. Прудкин и др.

⁴⁷ Популярны радиопередачи с записями спектаклей из Гостелерадиофонда 1960—1990-х годов.

⁴⁸ Выставка «Леонардо да Винчи. Портрет Моны Лизы (“Джоконда”)». Из коллекции Лувра» прошла в ГМИИ им. А. С. Пушкина в 1974 г.

⁴⁹ Бабаев Эдуард Григорьевич (1927—1995), доктор филологических наук, профессор. С 1970 по 1995 год преподавал на факультете журналистики МГУ.

⁵⁰ «Спартак» — балет ГАБТа СССР. Музыка А. Хачатуряна. Хореография Ю. Григоровича (1968). В спектакле участвовали М. Лиєпа, В. Васильев, Н. Тимофеева.

⁵¹ «Чиполлино» — балет ГАБТа СССР. Музыка К. Хачатуряна. Хореография Г. Майорова (1977). В спектакле участвовали М. Лиєпа, К. Рябинкина, А. Федорова,

⁵² «Автоград-XXI» — спектакль театра им. Ленинского комсомола. Пьеса М. Захарова и Ю. Визбора. Постановка М. Захарова (1973). В ролях О. Янковский, А. Збруев, Л. Зорина, Ю. Колычев и др. «Тиль» — спектакль театра им. Ленинского комсомола. Пьеса Г. Горина. Постановка М. Захарова (1974). В ролях Н. Караченцов, Е. Шанина, В. Ларионов, Ю. Колычев и др.

⁵³ «Синие кони на красной траве» — спектакль театра им. Ленинского комсомола. Пьеса М. Шатрова. Постановка М. Захарова. В ролях О. Янковский, Т. Пельтцер и др.

⁵⁴ Спектакли театра им. Вл. Маяковского: «Беседы с Сократом» (пьеса Э. Радзинского, постановка А. Гончарова, 1975; в ролях А. Джигарханян, С. Немоляева, И. Охлупин и др.); «Трамвай “Желание”» (пьеса Т. Уильямса, постановка А. Гончарова, 1974, в ролях А. Джигарханян, С. Немоляева, И. Охлупин и др.), «Человек из Ламанчи» (пьеса Д. Вассермана, Д. Дэрион, постановка А. Гончарова, 1972, в ролях А. Лазарев, С. Немоляева, И. Костолевский и др.).

⁵⁵ «Дон Жуан» — спектакль театра на Малой Бронной. Пьеса Ж.-Б. Мольера. Постановка А. Эфроса (1973). В ролях Н. Волков, М. Козаков, Л. Каневский, О. Яковлева и др.

⁵⁶ «Отелло» — спектакль театра на Малой Бронной. Пьеса У. Шекспира. Постановка А. Эфроса (1976). В ролях Н. Волков, О. Яковлева, В. Смирнитский, Л. Дуров и др.

⁵⁷ «Три сестры» — спектакль театра на Малой Бронной. Пьеса А. Чехова. Постановка А. Эфроса (1967). В ролях В. Смирнитский, О. Яковлева, Л. Перепелкина, А. Антоненко и др.

⁵⁸ «Медная бабушка» — спектакль МХАТ им. Горького. Пьеса Л. Зорина. Постановка О. Ефремова и М. Козакова (1971). В ролях О. Ефремов, Е. Евстигнеев и др.

⁵⁹ Всесоюзная государственная библиотека им. Ленина, сейчас — Российская государственная библиотека.

⁶⁰ Б. Ф. Ломов — профессор, член-корр. АН СССР, создатель и первый директор Института психологии АН (1971—1989).

⁶¹ «Почтовыми ящиками», или «ящиками», назывались предприятия, связанные с секретными разработками. Люди, работавшие в «ящиках», получали «допуск секретности» и не выпускались за границу.

⁶² Кинотеатр повторного фильма.

⁶³ Фильм О. Иоселиани «Жил певчий дрозд» (1971).

⁶⁴ Гастроли труппы «Балет XX века» (художественный руководитель Морис Бежар) прошли в Москве в апреле 1978 г.

⁶⁵ Якобсон Леонид Вениаминович (1904—1975), артист балета, балетмейстер, хореограф-новатор, поставивший на ленинградской сцене ряд выдающихся балетов, таких как «Спартак» А. И. Хачатуряна (1956), «Клоп» Ф. Отказова и Г. И. Фиртича (1962) и др. С 1969-го — организатор и художественный руководитель ансамбля «Хореографические миниатюры», в котором он поставил миниатюры, объединенные в циклы: «Классицизм-романтизм», «Моцартиана», «Роден».

⁶⁶ «Ревизор» — спектакль Большого драматического театра. Пьеса Н. В. Гоголя, постановка Г. Н. Товстоногова (1972). В ролях О. Басилашвили, К. Лавров, Н. Трофимов и др.

⁶⁷ См. сноску ⁴⁸.

⁶⁸ Выставка в ГМИИ им. А. С. Пушкина «Шедевры испанской живописи XVI—XIX веков из музея Прадо» прошла в 1980 г.

⁶⁹ Выставка картин Марка Шагала прошла в Москве, в Третьяковской галерее, в 1973 г.

⁷⁰ «Братья Карамазовы» — спектакль театра им. Моссовета. Инсценировка и постановка П. Хомского. В ролях Р. Плятт, А. Адоскин, Г. Тараторкин и др.

⁷¹ См. сноску ¹².

⁷² Юрий Шиханович, один из редакторов «Хроники».

⁷³ Речь идет об участии Натальи Горбаневской в демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 г. против ввода советских войск в Чехословакию. Горбаневская вышла на демонстрацию с грудным ребенком.

⁷⁴ Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» был опубликован в журнале «Москва» (1966, № 11; 1967, № 1).

⁷⁵ Книга рисунков Ефросиньи Керсновской «Наскальная живопись» печаталась в журнале «Огонек», 1990 г., №№ 3, 4.

⁷⁶ «Жуки» — подпольные торговцы книгами.

⁷⁷ См. сноску ¹.

⁷⁸ «104 страницы про любовь» — спектакль театра им. Ленинского комсомола. Пьеса Э. Радзинского. Постановка А. Эфроса (1964). В ролях А. Сидоркина, В. Корецкий, В. Ларионов, Н. Гошева и др.

⁷⁹ См. сноску ³⁶.

⁸⁰ См. сноску ⁴⁸.

⁸¹ Выставка 1972 г. «Западноевропейская и американская живопись и рисунок из коллекции Арманда Хаммера (США)».

⁸² Б. Окуджава. Глоток свободы. Повесть о Павле Пестеле. — М.: Политиздат, 1971. Журнальный вариант: Б. Окуджава. Бедный Абросимов. — Дружба народов, 1969, №№ 4—6.

⁸³ А. Лебедев. Чаадаев. М., 1965.

⁸⁴ Якобсон — см. сноску ⁶⁵.

Тригорович Юрий Николаевич (р. 1927), артист балета, балетмейстер. В 1962—1964 балетмейстер Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова, с 1964-го главный балетмейстер Большого театра. Создал балеты «Каменный цветок» С. С. Прокофьева (1957), «Легенда о любви» А. Д. Меликова (1961), «Щелкунчик» П. И. Чайковского (1966), балет А. И. Хачатуряна «Спартак» (1967).

⁸⁵ Волконский Андрей Михайлович (р. 1933) — композитор, клавесинист, органист. Родился в Женеве, в семье русских эмигрантов. В 1947 году семья Волконских переехала в СССР. А. Волконский продолжил музыкальное образование в Московской консерватории. С 1962 года Министерством культуры налагается официальный запрет на исполнение его собственных сочинений. В 1965 году А. Волконский создает ансамбль старинной музыки «Мадригал», который стал первым в стране исполнителем шедевров западноевропейской музыки добаховского периода: средневековья, эпохи Возрождения, раннего барокко. А. Волконский в 1972-м уходит из «Мадригала», а в 1973-м эмигрирует во Францию.

Шафран Даниил Борисович (1923—1997) — виолончелист. С 1943 года солист Московской филармонии. Один из ведущих представителей отечественной виолончельной школы. Исполнительский стиль отличался одухотворенностью и благородством, красотой и певучестью звука.

⁸⁶ А. Д. Сахаров.

⁸⁷ См. сноску ²⁹.

⁸⁸ Бархударов Степан Григорьевич (1894—1983) — член-корреспондент Академии наук (Отделение литературы и языка: русский язык, языкознание) с 4 декабря 1946 г. Созданная им в соавторстве с Е. И. Досычевой «Грамматика русского языка. Учебник для неполной средней и средней школы» (1938) была признана лучшим из представленных на конкурс стабильных учебников по русскому языку. В 1944 году под тем же названием выходит в свет учебник С. Г. Бархударова под редакцией академика Л. В. Щербы. Учебник выдержал 14 изданий. С. Г. Бархударов активно участвовал в подготовке последующих учебников по русскому языку. И сейчас один из действующих учебников — учебник С. Г. Бархударова (в соавторстве с С. Е. Крючковым, Л. Ю. Максимовым, Л. А. Чешко).

⁸⁹ «Тарусские страницы» — литературный альманах, выпущен в 1961 г. Вдохновитель сборника — К. Паустовский. Среди авторов: Ю. Казаков, Н. Заболоцкий, Ю. Трифонов, Н. Коржавин, Б. Слуцкий, В. Корнилов, Е. Винокуров, Б. Окуджава, Д. Самойлов и др.

⁹⁰ Гранка (четырёхгранка) — ключ, изготавливаемый в мастерской при психиатрической больнице. У каждого врача-психиатра свой личный ключ.

⁹¹ Корректоры — лекарства, смягчающие побочные действия психотропных препаратов.

⁹² Каллистратова Софья Васильевна (1907—1989) — знаменитый адвокат советской эпохи, в 1967—1970 годах была защитником на политических процессах, публиковалась в самиздате, подвергалась преследованию со стороны КГБ. Член Московской Хельсинкской группы.

⁹³ См. сноску ²⁸.

⁹⁴ Хельсинкская группа — см. сноску ¹¹, «Инициативная группа...» — см. сноску ²⁷. Русский общественный фонд Александра Солженицына — основан в 1974 году для помощи политзаключенным.

⁹⁵ См. сноску ¹².

⁹⁶ Е. М. Сморгунова была одним из редакторов «Хроники», но говорить об этом отказалась наотрез.

⁹⁷ Пятого декабря 1965 года в 18.00 на Пушкинской площади в Москве, у памятника поэту, несколько десятков человек провели манифестацию. Над толпой демонстрантов были подняты бумажные плакаты. На одних было написано: «Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем!». Содержание других плакатов сводилось к призыву «уважать Конституцию» и к требованию освободить из психбольниц нескольких молодых людей, насильственно помещенных туда в связи с их участием в подготовке этой манифестации. Поднятые плакаты очень быстро вырвали из рук манифестантов; моментально пресекались также попытки участников митинга выступить с какими-либо речами. На площади задержали 22 человека; ближе к вечеру всех задержанных освободили.

⁹⁸ Любарский Кронид Аркадьевич (1934—1996), астрофизик, правозащитник, журналист. Арестован 17 января 1972 г. по обвинению в антисоветской агитации. Осужден в октябре того же года на пять лет заключения. Отбывал срок в мордовских лагерях и Владимирской тюрьме. Будучи в лагере, в 1974 году выдвинул идею организации единого Дня сопротивления политических заключенных. Вместе с несколькими товарищами по заключению разработал концепцию проведения Дня сопротивления и смог распространить эту идею по другим лагерям и тюрьмам. С 1974 года 30 октября отмечается как День политзаключенного в СССР. К. Любарский был одним из распорядителей Солженицынского Фонда помощи политзаключенным и их семьям, вошел в советскую группу «Международной амнистии». В 1977 году Любарский с семьей покинул СССР. При выезде всю семью лишили советского гражданства. В эмиграции К. Любарский руководил изданием бюллетеня «Вести из СССР. Права человека» и общественно-политического журнала «Страна и мир».

⁹⁹ 1949 год — пик борьбы с «космополитизмом».

¹⁰⁰ Юлиус Телесин — московский математик, переводчик. В 1967—1970 он был так увлечен собиранием и распространением самиздата, что получил от друзей шутовское прозвище «Принц Самиздатский». В 1970 году составил машинописный сборник «Четырнадцать последних слов», куда вошли защитительные речи и последние слова подсудимых, произнесенные на политических процессах 1966—1970. Вскоре эмигрировал в Израиль.

¹⁰¹ См. сноску ⁴⁸.

¹⁰² Выставка «Шедевры Дрезденской картинной галереи». ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1955 г.

¹⁰³ Выставка художников-нонконформистов в павильоне «Пчеловодство» ВДНХ прошла в феврале 1975 г. Так называемая «бульдозерная выставка» картин художников-нонконформистов прошла раньше, 15 сентября 1974 г., на пустыре в Беляево. Тогда предполагавшийся «первый осенний просмотр картин на открытом воздухе», как было написано на афише той выставки, закончился разгоном художников тремя бульдозерами. Часть картин была уничтожена. Шум, поднятый западными СМИ, облегчил жизнь нонконформистов: им разрешили выставляться. Как правило, их картины можно было увидеть в зале на Малой Грузинской улице. Среди художников: О. Рабин, Б. Борух, А. Зверев, Т. Левицкая и др.

¹⁰⁴ Вейсберг Владимир Григорьевич (1924—1985), российский художник и теоретик искусства, один из ведущих мастеров «неофициального искусства». Продолжал линию «метафизического натюрморта», доводя свои живописные композиции 1970—1980-х годов (в манере «белое на белом») почти до полной беспредметности мерцающих световых полей с проступающими в них «призраками» вещей.

¹⁰⁵ Глен Гульд (1932—1982), великий канадский пианист, исполнитель и интерпретатор произведений И.-С. Баха.

¹⁰⁶ См. сноску ⁴⁶.

¹⁰⁷ Гастроли Шекспировского мемориального театра в Москве в 1955 г. Постановка П. Брука. В заглавной роли Пол Скофилд.

¹⁰⁸ Гастроли миланского театра «Ла Скала» в Москве в сентябре 1964 г.

¹⁰⁹ Имеются в виду музыкальные записи, сделанные на рентгеновских снимках.

¹¹⁰ Судебный процесс в Москве в 1966 г. За публикацию произведений на Западе писатели А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль были обвинены в антисоветской деятельности и приговорены к заключению в исправительно-трудовой колонии строгого режима (соответственно на семь и пять лет).

¹¹¹ Виноградов Виктор Владимирович (1895—1969) — советский языковед, литературовед, академик АН СССР (1946). Директор Института русского языка АН СССР с 1958 по 1968 г.

¹¹² Апресян Юрий Дереникович (р. 1930) — российский языковед, академик РАН. (1992). Труды в области семантики, синтаксиса, лексикографии, структурной и математической лингвистики, машинного перевода и др.

¹¹³ Так называемый «процесс четырех». С 8 по 12 января 1968 г. в Мосгорсуде состоялся процесс над Юрием Галансковым, Александром Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой. Всем было предъявлено обвинение по статье 70 УК РСФСР («Антисоветская агитация и пропаганда»). Юрий Галансков был приговорен к семи годам лагеря, Александр Гинзбург — к пяти годам, Алексей Добровольский — к двум годам, Вера Лашкова получила один год лишения свободы и была освобождена из-под стражи через несколько дней после суда.

¹¹⁴ Марченко Анатолий Тихонович (1938—1986), правозащитник, писатель. Пять раз был осуждён по политическим обвинениям, около 19 лет провёл в заключении. Умер в тюрьме. 26 июля 1968 г. А. Марченко отправил открытое письмо, обращенное к народу Чехословакии. В нем А. Марченко приветствовал гражданское возрождение страны, восстановление в ней свободы и демократии; протестовал против дезинформации относительно чешских событий и утверждал недопустимость насильственного вмешательства, если бы такое произошло. 29 июля 1968 г. А. Марченко был арестован.

¹¹⁵ Богораз — Брухман Лариса Иосифовна (1929—2004), филолог, правозащитник, общественный деятель. В 1961—1964 — аспирант сектора математической и структурной лингвистики Института русского языка АН СССР.

¹¹⁶ Бабицкий Константин Иосифович (1929—1993) — лингвист, правозащитник. В 1968-м осужден на три года ссылки за участие в демонстрации на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию.

¹¹⁷ 25 августа 1968 года в Москве, на Красной площади прошла демонстрация против ввода советских войск в Чехословакию. В ней участвовали Лариса Богораз, Павел Литвинов, Константин Бабицкий, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг, Наталья Горбаневская и Татьяна Баева. У них в руках были плакаты «За вашу и нашу свободу!», «Да здравствует Дубчек!», «Руки прочь от ЧССР!», «Долой оккупантов!» и флажки Чехословакии.

¹¹⁸ «Антимиры» — спектакль театра драмы и комедии на Таганке. Поэтическое представление на стихи Андрея Вознесенского. Постановка Ю. П. Любимова. В спектакле участвовали все артисты театра.

¹¹⁹ «Декабрьские вечера» в ГМИИ им. А. С. Пушкина — музыкальные фестивали, приуроченные к выставкам и созвучные им. Проводятся в музее с 1981 года. Идея их

проведения принадлежала С. Т. Рихтеру (1915—1997) и директору ГМИИ им. А. С. Пушкина И. А. Антоновой.

¹²⁰ Константин Богатырев (1925—1976) — поэт, переводчик. Воевал, в 1951 году был приговорен к расстрелу, который заменили 25 годами каторги. Сидел в Сухановской тюрьме. В 1956 году реабилитирован, получил возможность печататься. В 1976 году был убит.

¹²¹ «Горе от ума» — спектакль Большого драматического театра (БДТ). Постановка Г. Н. Товстоногова (1962). В ролях С. Юрский, Т. Доронина, К. Лавров и др.

¹²² См. сноску ⁶⁶.

¹²³ Спектакли БДТ: «Три сестры» (постановка Г. Н. Товстоногова (1965), в ролях С. Юрский, Э. Попова, Е. Копелян, Л. Макарова и др.), «Я, бабушка, Илико и Илларион» (пьеса Н. Думбадзе, постановка Г. Н. Товстоногова, режиссер Р. Агамирзян (1966), в ролях С. Юрский, Е. Копелян, М. Крутикова и др.).

¹²⁴ В фильме «Золотой теленок» (реж. М. Швейцер, 1960 г.) С. Юрский сыграл Остапа Бендера.

¹²⁵ «Вишневый сад», постановка М. О. Кнебель (1965). В ролях Л. Добржанская, М. Кнебель, А. Попов и др.

¹²⁶ Имеется в виду статья И. Виноградова «Философский роман Лермонтова».

¹²⁷ «Разгром» — спектакль по повести А. Фадеева. Постановка М. Захарова (1971). В роли Левинсона А. Джигарханян.

¹²⁸ Спектакли БДТ: «Мещане» (постановка Г. Товстоногова, 1966 г., в ролях Е. Лебедев, М. Призван-Соколова, Э. Попова, К. Лавров, Л. Макарова, В. Стрельчик и др.), «Сколько лет, сколько зим» (пьеса В. Пановой, постановка Г. Н. Товстоногова, 1966 г., в ролях К. Лавров, Э. Шарко, О. Борисов, С. Юрский и др.)

¹²⁹ «Петербургские сновидения» — по роману Ф. Достоевского «Преступление и наказание». Постановка Ю. А. Завадского (1969 г.). В ролях Г. Тараторкин, Л. Марков, М. Терехова, И. Карташева, М. Погорельский и др.

¹³⁰ Л. Аннинский. Обрученный с идеей («Как закалялась сталь» Николая Островского).

¹³¹ «А зори здесь тихие» — спектакль театра на Таганке. По повести Б. Васильева. Постановка Ю. Любимова (1971). В ролях И. Кузнецова, З. Славина, Т. Шацкая, Н. Сайко, В. Шаповалов.

¹³² «Перечитывая заново» — спектакль БДТ. Постановка Г. Товстоногова и Ю. Аксенова (1980). В ролях К. Лавров, В. Ковель, Е. Лебедев, В. Стрельчик, О. Борисов, Н. Трофимов и др.

¹³³ А. Калягин играл В. Ленина в спектакле МХАТ им. Горького «Так победим!» (пьеса М. Шатрова, постановка О. Ефремова, 1981 г.).

¹³⁴ «Принцесса Турандот» — спектакль театра им. Вахтангова. Пьеса К. Гоцци. Постановка Е. Вахтангова (1922). В ролях Ю. Яковлев, Н. Гриценко, М. Ульянов, Ю. Борисова, В. Лановой, Л. Максакова и др.

¹³⁵ См. сноску ²⁹.

¹³⁶ См. сноску ³⁰.

¹³⁷ «Смерть Иоанна Грозного». Постановка Л. Хейфеца (1966). В главной роли А. Попов.

¹³⁸ «Что делать?» Н. Чернышевского. Инсценировка и постановка Ю. Любимова. В ролях З. Славина, И. Дыховичный, В. Шаповалов, Р. Джабраилов, В. Золотухин и др.

¹³⁹ См. сноску ³⁶.

¹⁴⁰ «Вишневый сад» А. Чехова. Постановка А. Эфроса. В ролях А. Демидова, В. Высоцкий, Т. Жукова, В. Золотухин и др.

¹⁴¹ «Анна Каренина» — балет ГАБТа. Музыка Р. Щедрина. Либретто Б. Львова-Анохина по мотивам одноименного романа Л. Н. Толстого. Хореография М. Плисецкой, Н. Рыженко, В. Смирнова-Голованова.

¹⁴² Балеты ГАБТа с участием М. Плисецкой: «Кармен-сюита» (музыка Ж. Бизе — Р. Щедрина, либретто А. Алонсо по новелле П. Мериме, хореография А. Алонсо); «Дама с собачкой» (музыка Р. Щедрина, либретто Р. Щедрина по мотивам рассказа А. П. Чехова, хореография М. Плисецкой); «Чайка» (музыка Р. Щедрина, либретто Р. Щедрина и В. Левенталья по мотивам пьесы А. П. Чехова, хореография М. Плисецкой).

¹⁴³ См. сноску ⁴⁸.

¹⁴⁴ См. сноску ⁶⁸.

¹⁴⁵ Серия «Литературные памятники» АН СССР. Выходила в издательстве «Наука».

¹⁴⁶ Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946. Опубликовано: Правда. 21 августа 1946.

¹⁴⁷ Русские сказки с иллюстрациями И. А. Билибина издавались Главным управлением «Гознак» Министерства финансов СССР. Иллюстрации воспроизводились с авторских оригиналов, хранящихся в музее Гознака.

¹⁴⁸ Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона. Из Национального музея в Каире» прошла в ГМИИ им. А. С. Пушкина в 1973 г.

¹⁴⁹ См. сноску ¹⁰².

¹⁵⁰ «Старый новый год». Спектакль МХАТ им. Горького. Пьеса М. Рощина. Постановка и режиссура О. Ефремова. В ролях А. Калягин, В. Невинный, Е. Евстигнеев и др.

¹⁵¹ Легендарный спектакль по пьесе Н. Эрдмана «Мандат», постановка В. Э. Мейерхольда. Восстановлен Э. Гариным в Театре-студии киноактера в 1956 г. В ролях Э. Гарин, С. Мартинсон, А. Денисова и др.

¹⁵² Спектакль театра драмы и комедии на Таганке «Под кожей статуи Свободы» по Евг. Евтушенко. Композиция Ю. Любимова, Б. Глаголина, А. Васильева, В. Смехова, Л. Филатова. Постановка Ю. Любимова. В спектакле участвовали В. Смехов, Л. Филатов и др.

¹⁵³ Спектакль Театра драмы и комедии на Таганке «Тартюф» по пьесе Ж.-Б. Мольера, перевод М. Донского. Постановка Ю. Любимова. В ролях Ф. Антипов, М. Полицеймако, И. Кузнецова, В. Смехов, В. Соболев, З. Славина и др.

¹⁵⁴ Гастроли Королевского Шекспировского театра, 1968. Постановка Питера Холла.

¹⁵⁵ Фрагмент книги А. Белинкова о Ю. Олеше (отрывки из главы «Поэт и толстяк») напечатан в журнале «Байкал» в 1968 г. Сама книга о Ю. Олеше «Сдача и гибель советского интеллигента» опубликована в 1976 г. за рубежом.

¹⁵⁶ Книга А. Белинкова «Юрий Тынянов» опубликована в 1960 г.

¹⁵⁷ В 1977 году Ю. Любимов и А. Шнитке готовили для Парижской оперы новую версию оперы П. Чайковского «Пиковая дама». Когда работа была закончена, в «Правде» появилась статья А. Жюрайтиса «В защиту 'Пиковой дамы'», в которой он говорил о «надругательстве» над Чайковским. После статьи Ю. Любимову было запрещено выезжать на постановку в Париж.

¹⁵⁸ Книга Д. Мережковского «Две тайны русской поэзии, Некрасов и Тютчев» (1915).

¹⁵⁹ Мандельштам.

содержание

Вчерашний день. <i>Мария Дубнова</i>	7
Инженер	11
Инженер	19
Журналист	24
Врач-фониатор	29
Военный и служащая	35
Дипломат	37
Военнослужащий	45
Инженер	47
Экономист	51
Младший научный сотрудник.....	54
Журналист	59
Психолог	69
Ученый, лингвист	80
Инженер	82

Научный сотрудник	87
Инженер	94
Инженер	99
Научный сотрудник и врач-психиатр	102
Инженер	114
Ученый-диалектолог, лингвист	118
Учитель русского языка и литературы	129
Психиатр	136
Патологоанатом	143
Инженер	145
Педагог	146
Студент	155
Проектировщик-график	156
Учитель русского языка и литературы	161
Примечания	169

В этой книге...

о партии

...К партии я относился без придыхания, лишь как к ступени служебной лестницы. Лезина, лозунги всякие принимал как данность, без особенных восторгов. И к грамотам и поощрениям относился нормально: дают — значит, все в порядке, работа идет.

...События в Чехословакии во многом определили мое отношение к действительности. После я уже особенно ничему не удивлялся и ничего хорошего не ждал. Я понял, что никогда в эту партию не пойду.

...Практически все мои друзья были членами партии, куда вступали не из идейных, а из карьерных соображений. Если ты надеялся чего-то добиться в этой жизни, то членство в партии было таким же условием, как высшее образование...

о диссидентах

...Я никогда не участвовал в МХГ, в политических, диссидентских тусовках — не потому, что не хотел, но просто со мной совершенно случайно никто из этих людей не познакомился. Жизнь меня не столкнула с этими, более продвинутыми, чем я, людьми, которые делали «Хронику...». Будучи человеком отзывчивым и обязательным, я бы обязательно в это ввязался.

...Жизнь так сложилась, что случайных или неслучайных встреч с откровенными диссидентами у меня не было. Я часто себя спрашивал: если бы я до 1968 года оказался в кругу людей типа Ларисы Богораз или Натальи Горбаневской, пошел бы я с ними или нет? И до сих пор не знаю...

о несправедливости

...У меня не было ощущения опасности. Я понимала, что несправедливость была, есть и будет всегда. Но эта несправедливость у меня ассоциировалась не со строем, но всегда с конкретными людьми. Когда кого-то обижали, я всегда заступалась. Но всегда — за кого-то, а не за себя.

...Конечно, были попытки выступить против несправедливости, но на бытовом уровне: на работе, в институте... Все эти попытки заканчивались неудачей, но почему — понятно только теперь. А тогда мы кипели: как же так, это же очевидно! Так не должно быть! Да, Митю исключили из университета, но есть же порядочные коммунисты!

об эмиграции

...Он сказал, что это не его власть, что к большевикам он никогда не испытывал добрых чувств, но «это моя страна, и я осуждаю эмиграцию». В меня эти слова «попали», я никогда их не оценивал — они во мне были, и все. Отцовские слова стали фундаментом для всех последующих решений по эмиграции.

...Но об эмиграции мы никогда не думали. Отец говорил, что в России полно воров и жуликов, но уезжать ему не хотелось, это была его страна. Он говорил, что мерзавцы приходят и уходят, но народ и страна в этом не виноваты.

о стукачах

...Я дико боялась стукачей, даже опасалась знакомиться с мальчиками: мне нужен был только антисоветчик.

...Один из первых моих серьезных поклонников был курсант Высшей школы КГБ, и никакой брезгливости это во мне не вызывало. Я понимала, что он не стукач, а просто хороший математик.

о ненависти

...я не борец. Я боялась и не хотела, чтобы меня посадили в «психушку» или отправили в лагерь. Но от постоянной ненависти, которая сидела во мне, было очень плохо. Очень тяжело...

...Я ненавидел систему, которая исковеркала и мою жизнь, и жизнь моих родителей. Конечно, я боялся. Но во мне была еще и злость. Невозможно было просто терпеть всю эту гадость.

...У меня семь человек в роду пострадали, и я старался по возможности не выходить за рамки. Хотя меня всю ущемляли...

...У меня было ощущение страшного цинизма вокруг, который охватывает все, куда ни погляди. Интрижки, легкие, быстрые любовные связи, которые были вокруг и которые я принять совершенно не могла. Вокруг был цинизм взаимовыгодных связей, пересыпов, выпиваний, скречиваний, и это меня больше всего добивало.

о подтексте

...Наши актеры, режиссеры ухитрялись в каждый спектакль какой-то перчик втиснуть. А мы ловили все эти подтексты с удовольствием.

...В той жизни было так много неправды, что казалось невозможным говорить о чем-либо открыто. Если где и можно было докопаться до истины, то, наверное, в искусстве.

...А социальный подтекст я нигде не искала. Что мне искать, когда у меня папа сидел? Меня тошнило от социального подтекста.

...Социальный подтекст мы не ловили. Нас интересовали более значимые вещи, более важные «для души».

...Мы во всем искали социальный подтекст. Если удавалось прочесть что-то между строк, уловить намек, это воспринималось как удача. Был какой-то охотничий азарт.

о книгах

...Дефицит книжный был страшный, и я доставала книги у друзей, по знакомым. А из библиотек не тащила. Многие тащили, а я никогда не могла взять чужое.

...Уже в начале восьмидесятых появилось много книг, а не фотокопий, люди стали делиться именно книгами и обнаглели: начали даже в метро читать... А сразу было видно: наше издание читают или иностранное...

...Книги, которые давали ненадолго, очень хотелось читать в транспорте. И знаешь, что нельзя, а все равно тянет. И все так делали: времени-то мало. И всегда таких людей было видно. Было даже такое развлечение: сесть рядом с таким читателем и коситься в его книжку. Человек отгораживается, прикрывает книгу, но окончательно не закрывает и почему-то не пересаживается: книгу-то дали совсем на чуть-чуть... И вот эти корчи человека рядом с тобой... Ты-то точно знаешь, что он в безопасности. Но он-то этого не знает...

...Много было «отксеренной» литературы, переплетенной в небольшие альбомчики. Эти альбомчики было очень удобно читать в метро. Мне через плечо заглядывают, а я раз — и закрываю.

о ценностях

...Доставали, конечно, и хрусталь, и мебель, холодильник, стенки. Но эти покупки, в отличие от книг, не имели жизненно важного значения.

...Среди моих знакомых не было людей, которые были готовы жизнь положить на то, чтобы достать мебель. Наличие хрусталя в шкафу не поднимало человека в наших глазах.

...В нашей шкале ценностей не было одежды или мебели, хрусталя. Я и сегодня не замечаю, какая у кого люстра. Ели котлеты по шесть копеек и были вполне довольны.

о режиссерах

...Режиссеров я не запоминала. Когда кино посмотришь, то рассказываешь про что, про какого роману и кто играет. А режиссеров мы не запоминали...

...Мы ходили в кино, интересовались этим. Например, внимательно читали книгу «Кино Великобритании». Кто сейчас стал бы это читать, кому это интересно? А тогда мы твердо знали десятку лучших кинорежиссеров: Феллини, Антониони, Курасава, Тарковский, Герман...



Майя Плисецкая. "Айседора", май 1983



Майя Плисецкая. "Кармен-сюита", декабрь 1974



2)

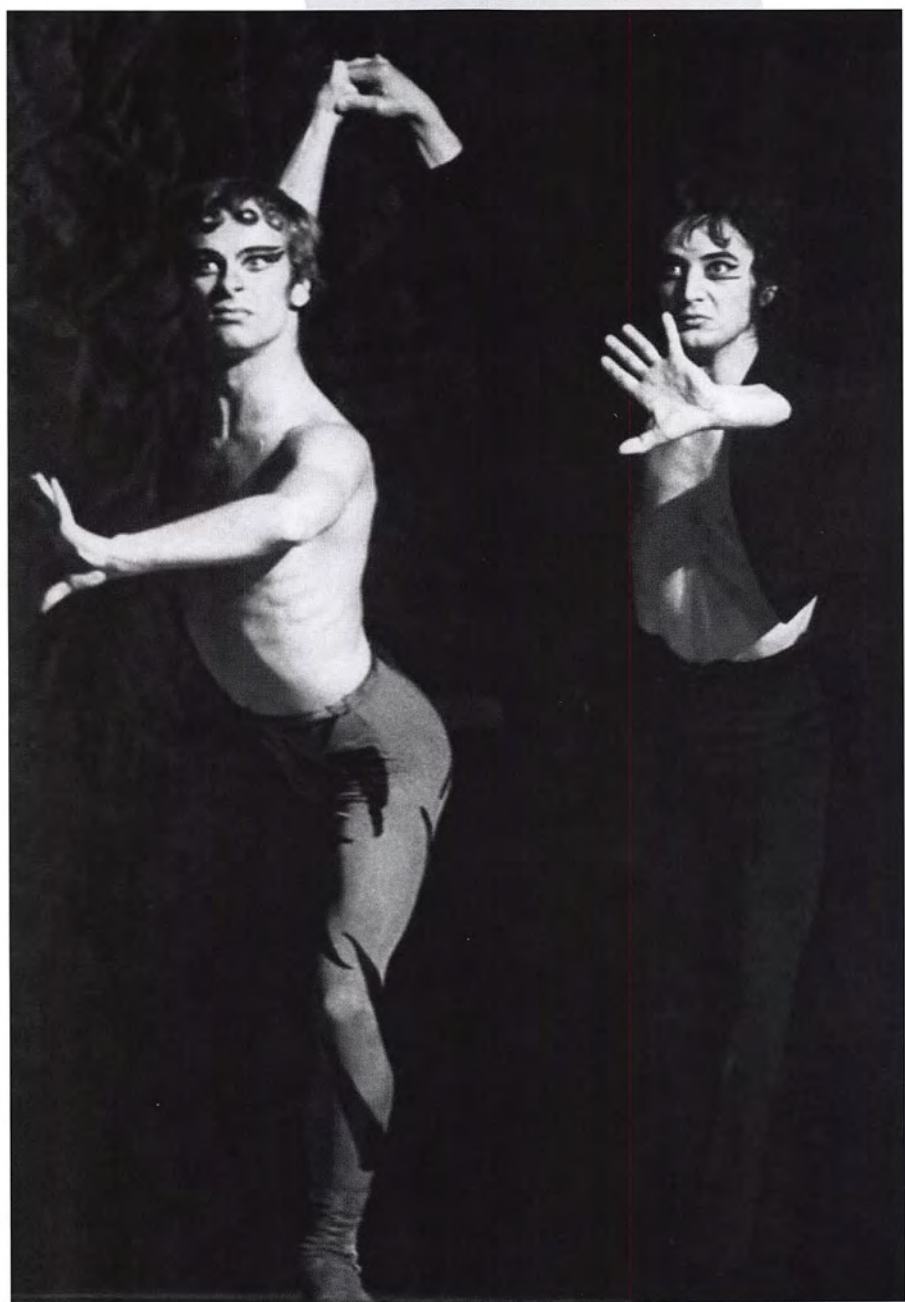


Майя Плисецкая. "Лебедь", январь 1982

4)



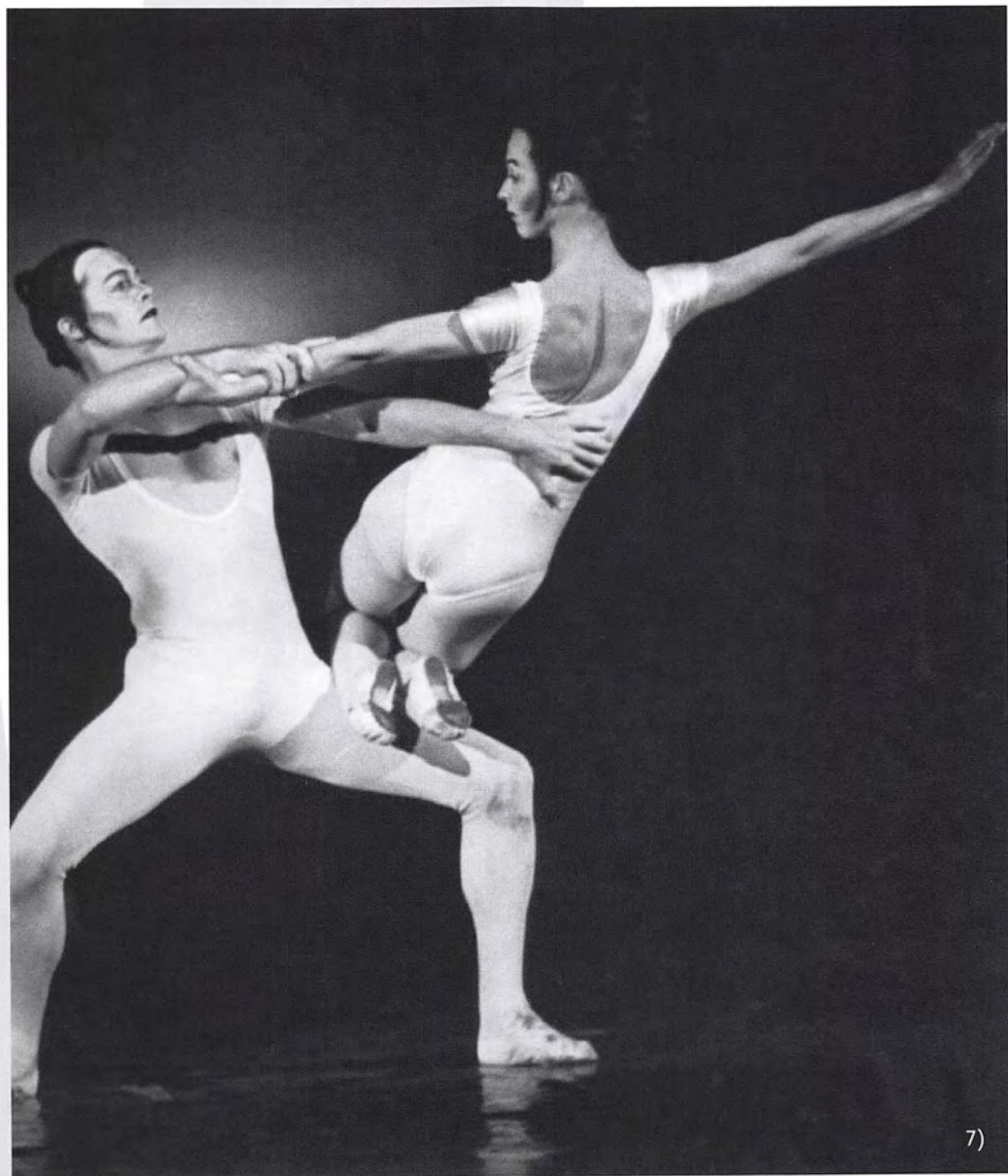
Дьерский балет (Венгрия), "Момент истины"



Национальный балет Кубы
(художественный
руководитель Алисия Алонсо),
"Поэма огня"



6)



7)

Балетная труппа Шведской королевской оперы,
"Синяя кожа"



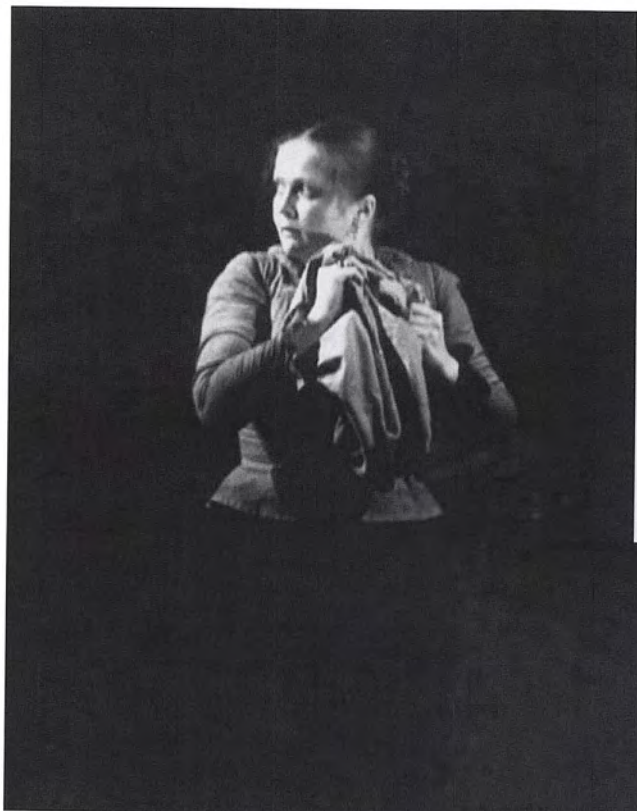
Екатерина Максимова,
Марис Лиета,
февраль 1979



Марис Лиета. "Спартак",
февраль 1981

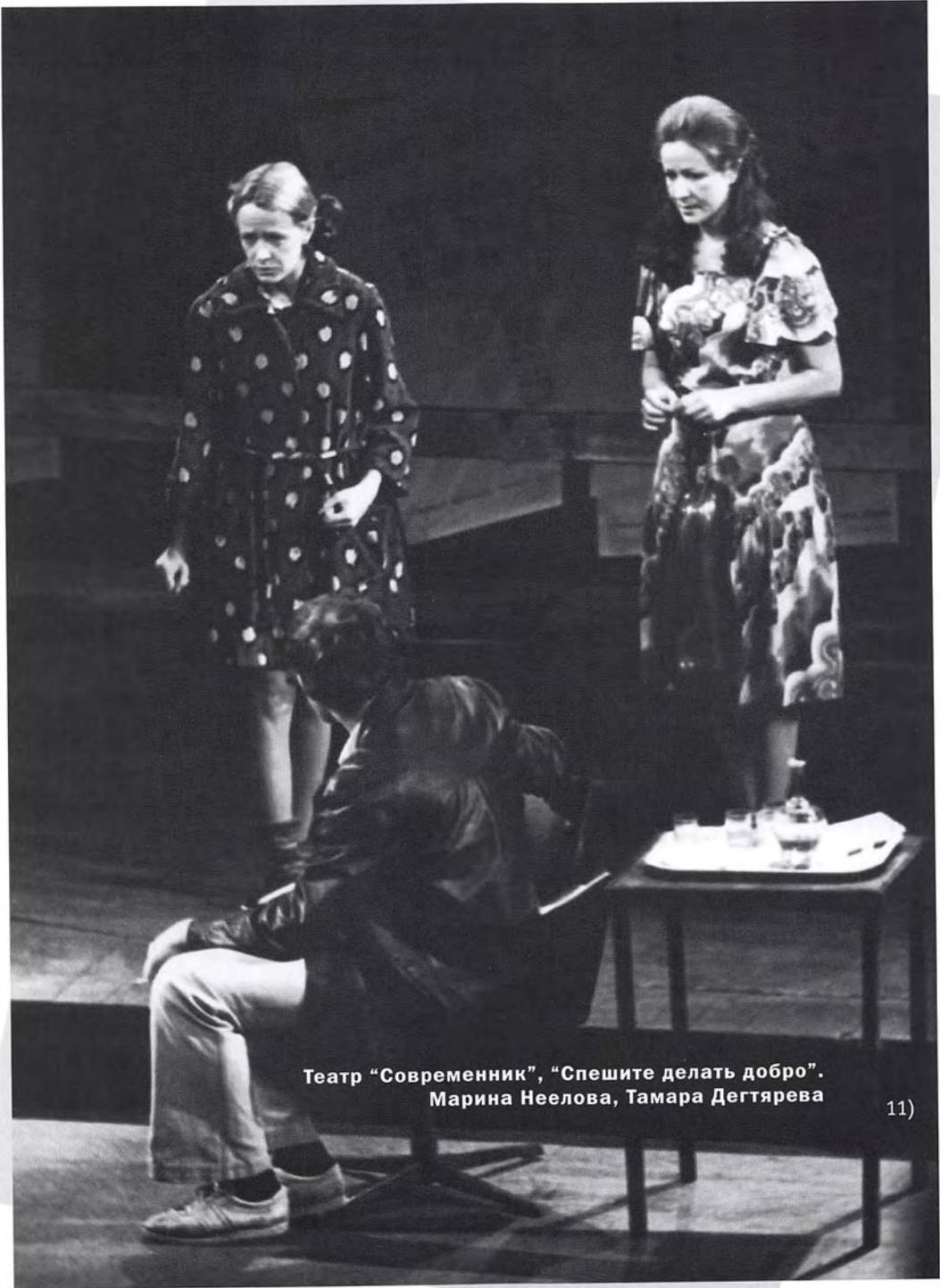
Марис Лиепа. "Импровизация",
февраль 1979



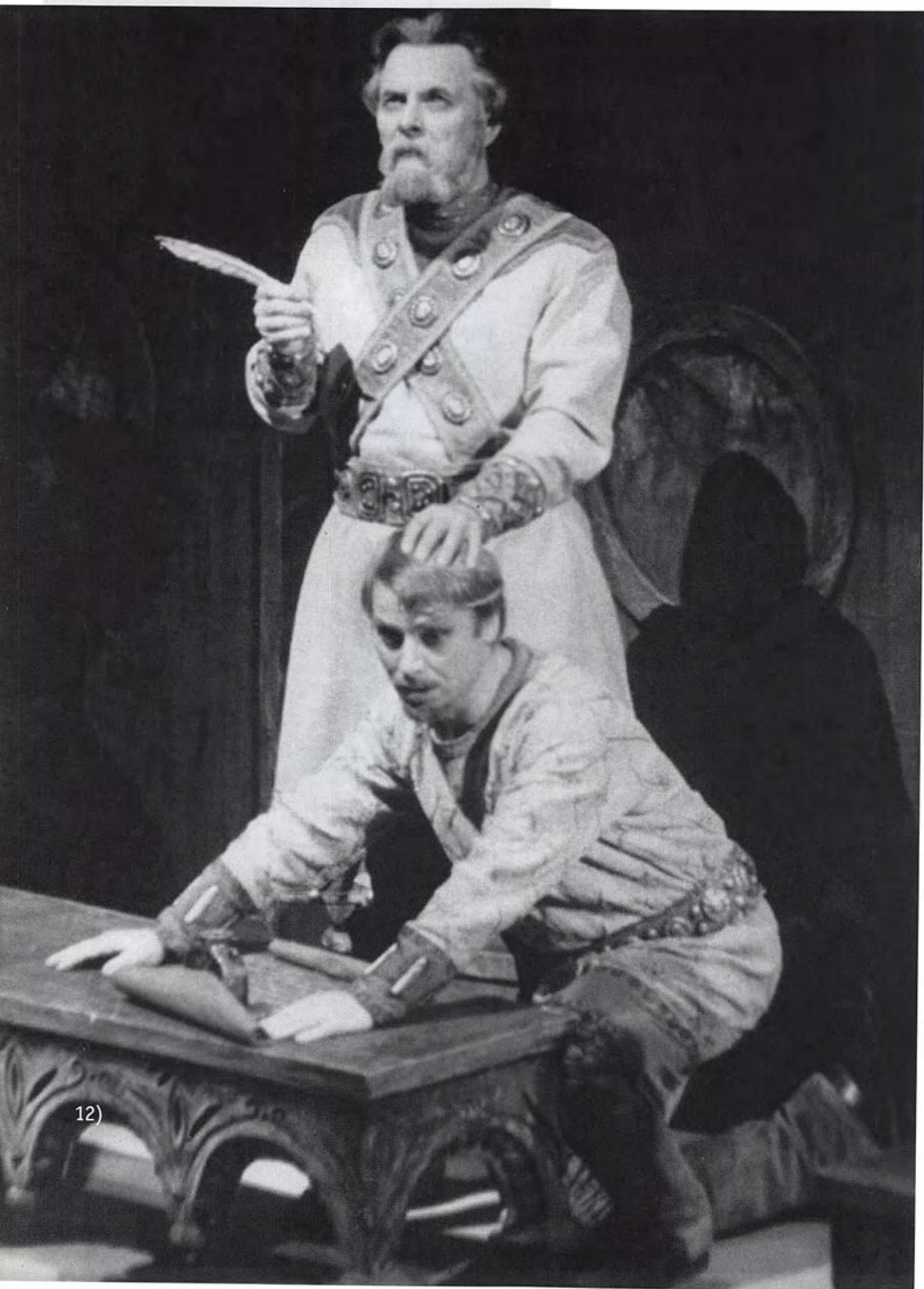


Театр им. Маяковского,
"Леди Макбет Мценского
уезда". Наталья Гундарева





Театр "Современник", "Спешите делать добро".
Марина Неелова, Тамара Дегтярева



Малый театр,
"Царь Федор Иоаннович".
Евгений Самойлов,
Алексей Эйбоженко,
Иннокентий Смоктуновский





Ленинградский ансамбль балета (художественный
руководитель Борис Эйфман), спектакли "Легенда"...



15)

...и "Бумеранг"



16)

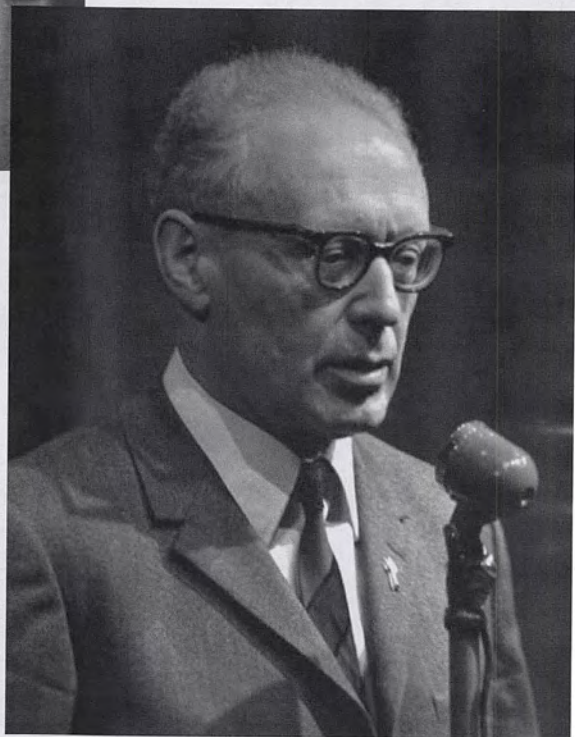
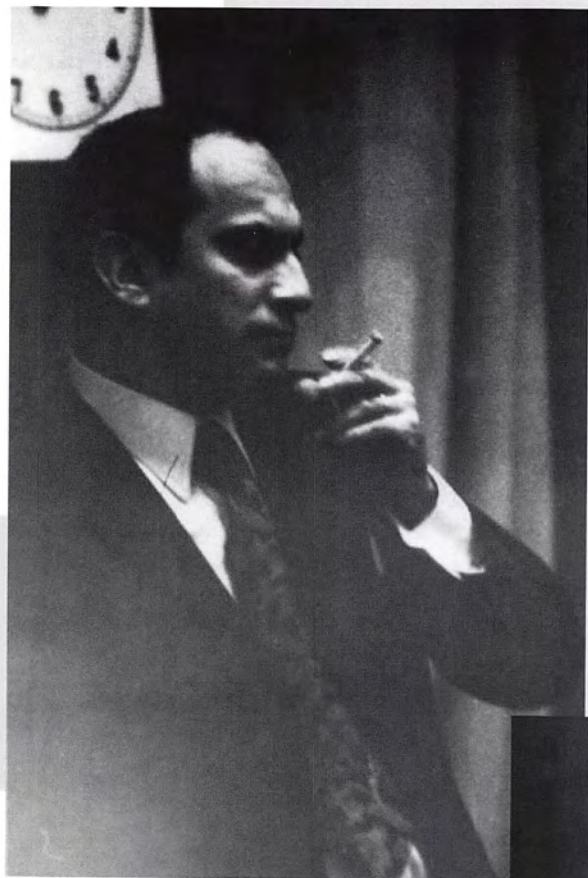
Балетная труппа Шведской королевской
оперы, "Павана мавра"

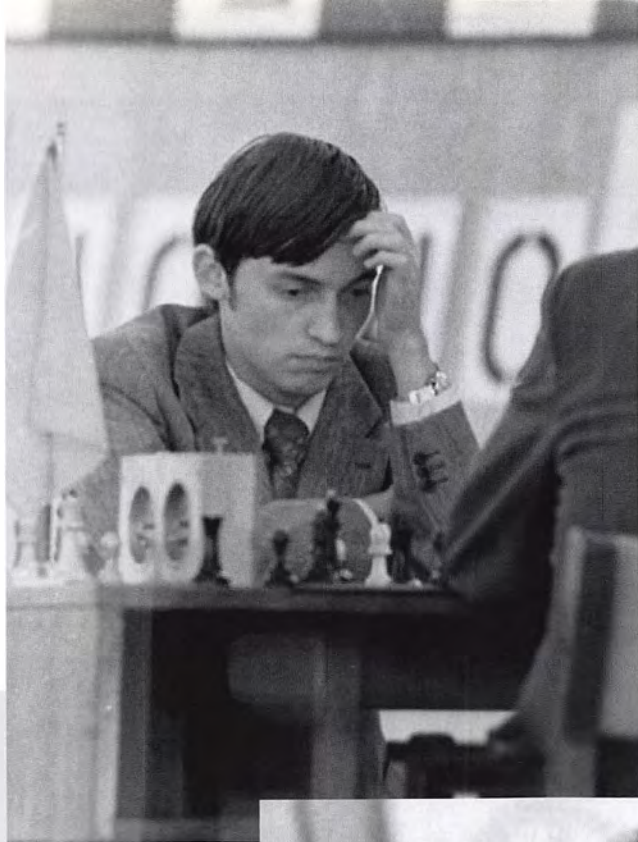


Ленинградский академический
театр оперы и балета
им. Кирова, "Петр I"

Московский музыкальный
камерный театр, "Конец
Казановы"







Финальный матч
претендентов на звание
чемпиона мира по шахматам,
октябрь 1974.
Михаил Таль,
Михаил Ботвинник,
Анатолий Карпов,
Виктор Корчной





Театр им. Моссовета, "Тема с вариациями".
Ростислав Плятт, Сергей Юрский, Маргарита Терехова





Театр им. Ленинского
Комсомола, "Юнона и Авось".
Николай Караченцов, Елена
Шанина





Надежда Павлова, Вячеслав Гордеев, 1970-е



Александр Ширвиндт,
1973



Андрей Миронов,
1973



Елена Образцова и Георгий
Свиридов, апрель 1983



Иннокентий
Смоктуновский,
январь 1974



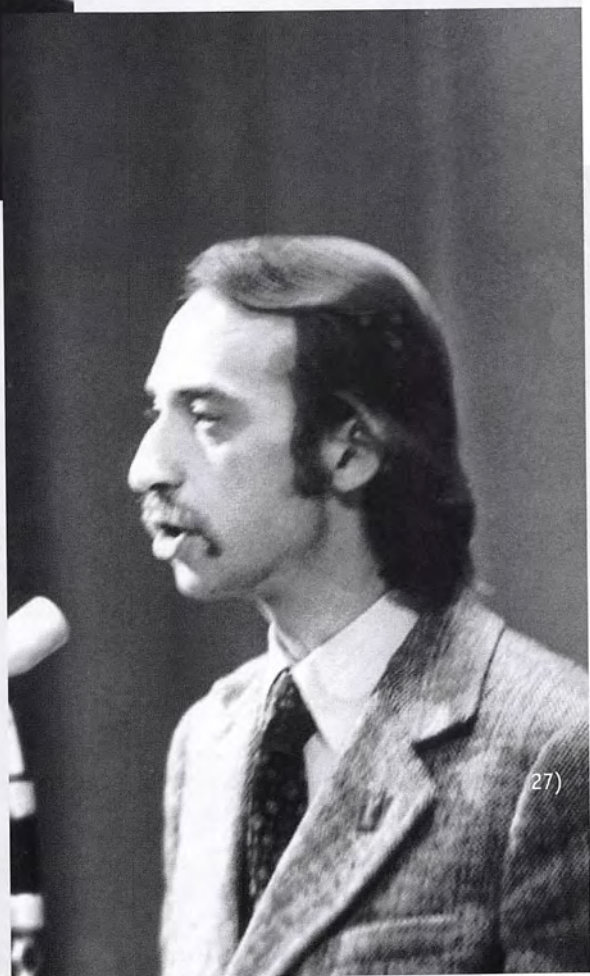
Лариса Лузина, Светлана
Дружинина, 1971

Ирина Мирошниченко,
май 1981





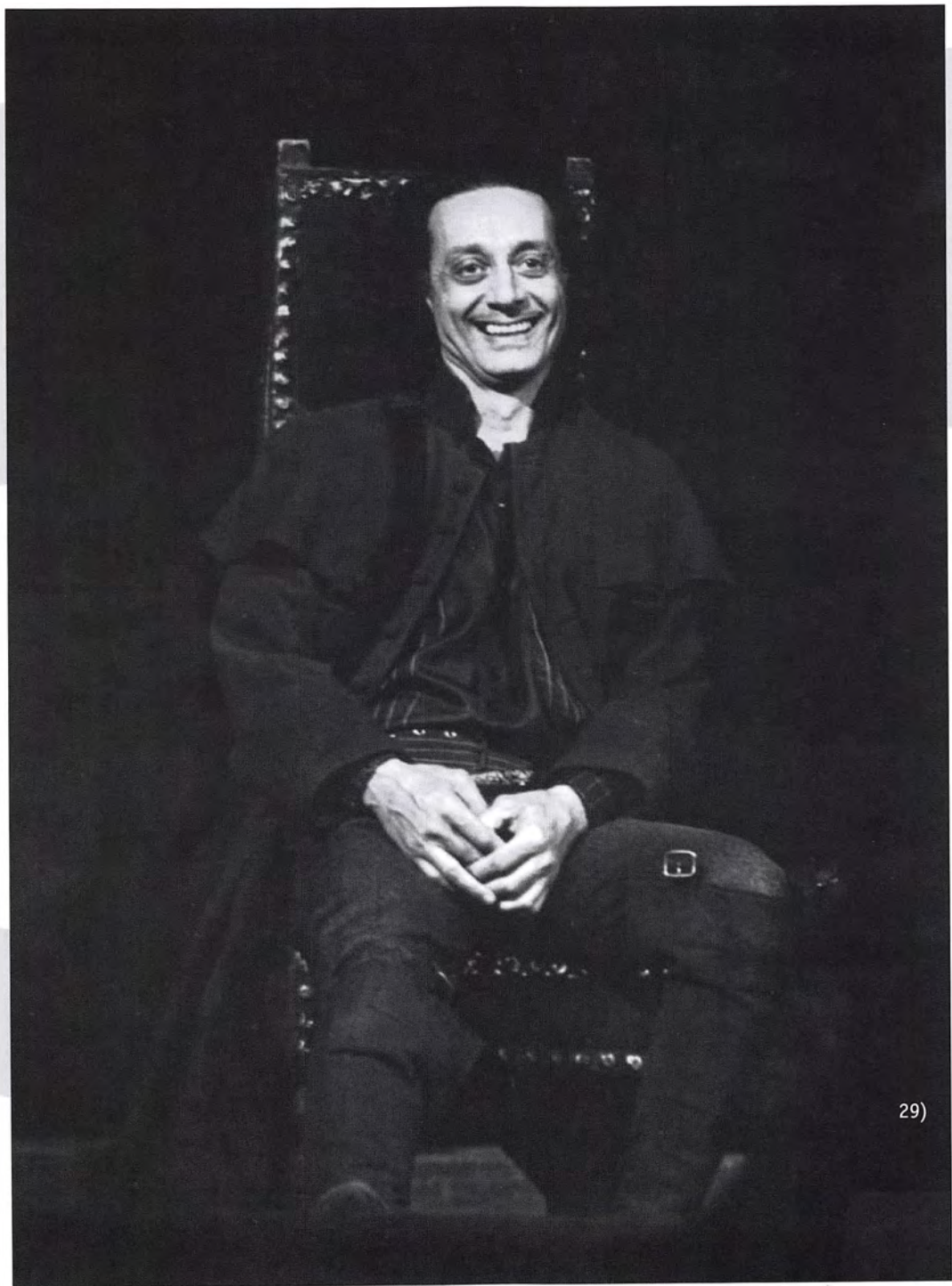
Валентин Плучек, 1973



Александр Иванов, 1972

Тбилисский театр им.
Марджанишвили, "Отелло".
Отар Мегвинетуцеси, Нодар
Мгалоблишвили







30)

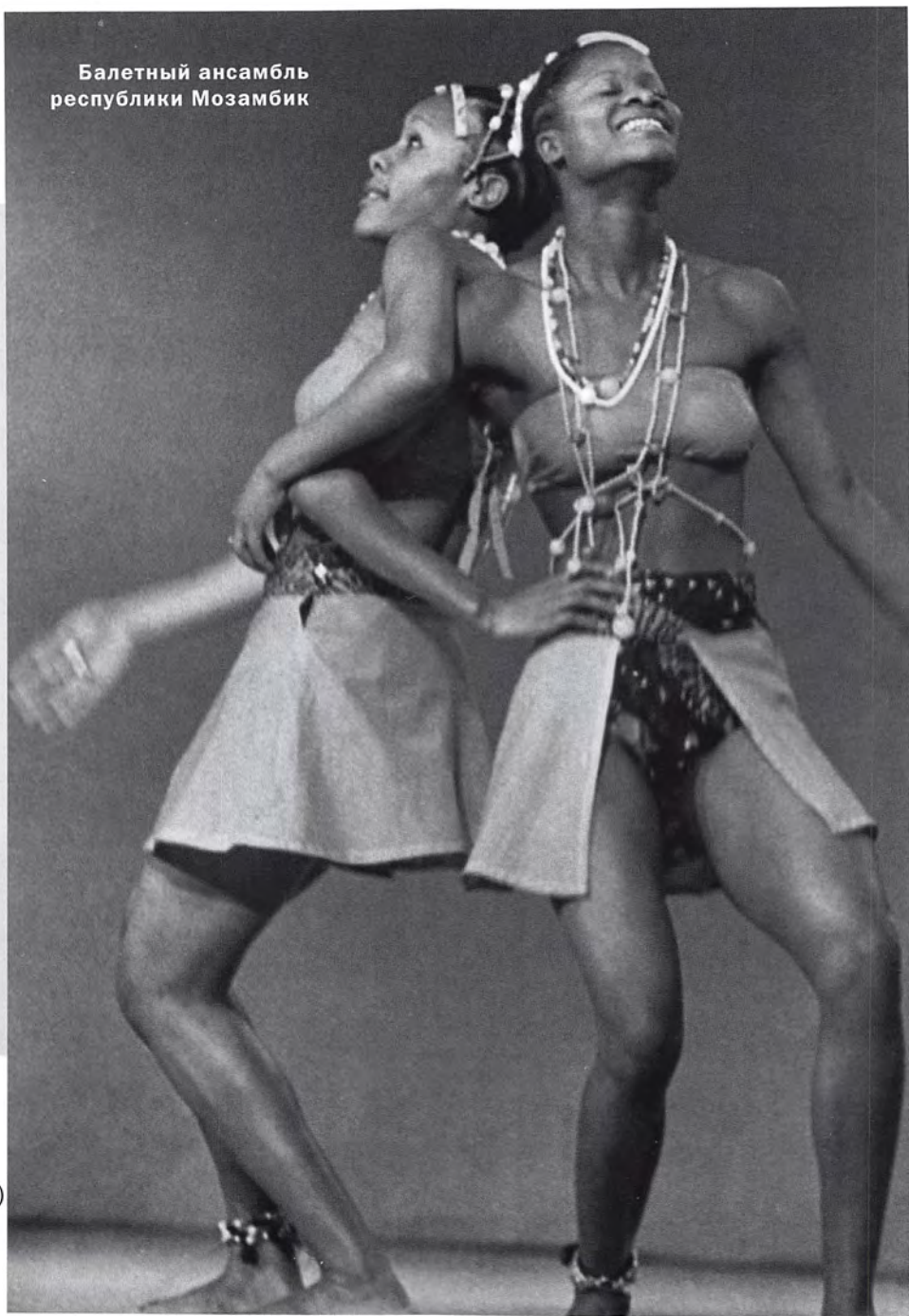
Мирей Матье, начало 1980-х



Адриано Челентано, начало 1980-х



Балетный ансамбль
республики Мозамбик



Подписано в печать 22.11.2006.

Формат 70×90 ¹/₁₆.

Бумага для ВХИ.

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 14,1 + 7,02.

Тираж 2000 экз.

Заказ № 934.

«Время»

115326 Москва, ул. Пятницкая, 25

Телефон: (495) 231 1864

<http://books.vremya.ru>

e-mail: letter@vremya.ru

Отпечатано в ОАО

«ИПП «Уральский рабочий»

620219, г. Екатеринбург,

ул. Тургенева, 13.

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: book@uralprint.ru

**Литературно-публицистическое
иллюстрированное издание**

**МАРИЯ ДУБНОВА
АРКАДИЙ ДУБНОВ**

Танки в Праге, Джоконда в Москве

**редактор
АЛЛА ГЛАДКОВА**

**художественный редактор
ВАЛЕРИЙ КАЛНЫНЬШ**

ISBN 5-9691-0182-6



9 785969 101821

СПб. / СПб. /

Жить легко значило жить неправильно. Девиз «Нет проблем!» воспринимался как показатель ущербности и даже духовной обделенности. Самоуважение приходило, если ты мучился над «проклятыми вопросами», зашифрованными в художественных текстах. Или хотя бы мог их сформулировать. В этом был азарт времени — лично дойти до сути этих вопросов...

Люди по-разному определяли для себя степень дозволенного. Кто-то читал Солженицына, кто-то составлял «Хронику текущих событий», а кто-то пожимал плечами: «Вся эта возня Максимова, Владимова не имела смысла... Это были игры части интеллигенции. А мы занимались реальным делом — и только это имело значение»...